

ФЕДОР ГЛАДКОВ

Г 52
P180629

КЛЯТВА

ПОВЕСТИ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1944



72

ФЕДОР ГЛАДКОВ

КЛЯТВА

ПОВЕСТИ

180629

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА
1944

Г-52 + русск.

КЛЯТВА

(Записки фрезеровщика Николая Шаронова)

I

Утром я встаю при первых выкриках диктора. Это — мой будильник. Удивительно, что я чувствую этот призыв до того, как он раздаётся в репродукторе: я как бы ощущаю внезапный внутренний толчок, спохватываюсь и вынырываю из сонного небытия. При звуках марша я вскакиваю с постели и быстро одеваюсь. За окном тьма, как в полночь, и только над крышей противоположного дома дрожит далекое фосфорическое зарево — огни на заводе. Я зажигаю электричество, и комната моя в девять квадратных метров кажется мне уютной, как постель. Я ставлю радио на «тихо», чтобы музыка не будила соседей, вставляю в штепсель вилку электрочайника, налитого водою еще с вечера, иду умываться. Вытираясь полотенцем на ходу, я вижу в зеркальце на стене сухощавое лицо, твердый прямой нос, с резкой морщинкой у переносья, впавшие щеки.

Над маленьким столиком, покрытым газетой, припилены фотографии моей Лизы с Лавриком на руках, брата Игнатия в лётном костюме у пропеллера и старика-отца с матерью. Мать — в косынке, сидит маленькая, сморщенная, а отец стоит около нее — большой, неуклюжий, с седыми усами, опущенными на подбородок. У него — горбатый нос и выпуклые властные глаза. Да, у моего старика и здесь, на портрете, очень удачно схвачен суровый и упрямый характер. У старых превосходных мастеров, с боевой биографией, в характере есть всегда этакая злинка и жесткая убежденность.

Сплю я на складной, походной койке. Ее положила мне на грузовик Лиза. В хлопотах я даже прикрикнул на нее: — На кой чорт мне это барахло, Лиза?

Но она как будто не слышала моего возгласа, улыбнулась сквозь слезы, и около ее рта вдруг задрожали морщинки боли.

— Может быть, мы расстанемся навсегда, Коля... Что будет с Ленинградом?..

И, когда я увидел эти морщинки, сердце мое так больно сжалось, что я поспешил привлечь Лизу к своей груди и долго целовал белокурые ее волосы.

И вот здесь, на Урале, я живу вместе с своим заводом уже полгода. Признаюсь, я не знаю, о чем больше тоскую — о Лизе ли с Лавриком, об Игнаше ли, о Ленинграде ли... Чувствую одно: мне мучительно переживать свою оторванность от прошлого. Тоскую о том, что я — не там, не вместе с Игнашей и моей Лизой на передовой линии, что я не сражаюсь, как простой солдат. Чтобы ослабить эту тоску, твержу себе, что я и отсюда пробиваю блокаду Ленинграда. От нашей работы зависит число орудий и боевых машин. Я делаю в пять, в десять раз больше, а сегодня—завтра я оснащу свой станок так, что буду давать оружия в двадцать, в тридцать раз больше... в пятьдесят, в сто, чорт возьми!..

За чаем я с тем же волнением перечитываю (в который уже раз!) последнее письмо Лизы. Эта короткая беседа с ней для меня необходима. Я как бы слышу ее милый голос, и она улыбается мне сквозь слезы.

«Родной мой! Прежде всего прошу не беспокоиться о нас: я работаю на заводе, Лаврик на попечении бабушки. Ты не узнаешь его: он совсем стал взрослым. В глазенках у него — раздумье и строгость. Бомбежка и разрывы снарядов уже не вызывают в нем ужаса. Он не бросается, как прежде, на пол, чтобы распластаться на нем, а спокойно говорит бабушке: «Фугаска на Лиговке» или: «Фашисты долбят наш район. Пойду погляжу, как дядя Игнаша будет клевать немецких стервятников». А когда бабушка говорит ему: «И не выдумывай, Лавруша! Сейчас же одевайся и пойдем в убежище», — он отвечает убежденно: «Ерунда, убежище: оно не влияет». Вот забавный мальчоныш!

Трудновато, родной, делать огромные концы — два раза в сутки, туда и обратно. Ведь трамвай, как ты знаешь,

не ходит. Мы в блокаде: в этом — все. Да и хлебушка маловато. У меня порою кружится голова, дрожат ноги и руки. А наш старик совсем закачался, но он упорно продолжает ходить на завод: от бюллетеня наотрез отказался. «Я,—говорит,—еще не обезножел, голова на плечах, а моя квалификация сейчас нужнее фронту, чем моя жизнь. Старости,—говорит,—в эти страдные дни не существует».

Пишу тебе это письмо дома: только что пришла с работы. Раннее утро, темно. Зажгла лучину, и неудержимо захотелось поговорить с тобою. Тяжело нам, милый, очень тяжело... У меня сейчас нет воды, а хочется выпить кипятку, чтобы согреться. В комнате очень холодно, и мне кажется, что, стоит только лечь в постель, и больше уже не встанешь. Одно приятно согревает: Лаврик — у бабушки, а там — тепло: они разбирают заборы, деревянные сарайчики и топят железные печки. А я ломаю у себя стулья, столики, гардероб (вот какая я беспощадная!) и топлю плиту в кухне, а потом ложусь на ней.

И еще греют меня мысли о тебе, милый, о встрече с тобою. Это — счастье. И ради этого счастья, ради чудесной жизни, которую мы создавали, — верю! — выдержим всё и будем бороться до конца, свирепо, беспощадно».

Так пишет моя Лиза, и я знаю, что каждое ее слово — это ответ врагу: нет, не взять, не покорить нас!

Я прячу письмо в карман, одеваюсь, выхожу в прихожую. Кухня освещена, и Аграфена Захаровна, жена хозяина квартиры, сталевара здешнего завода, Тихона Васильевича Работкина, хорошая, кроткая женщина, смущенно стирает пальцами улыбку с губ и удивленно вскрикивает:

— Что же это вы, Николай Прокофьевич, так рано сорвались-то? Ведь до смены-то — добренький час!

— Дозарезу надо, Аграфена Захаровна. Возможно, я совсем не приду сегодня.

— Ах, время-то какое! Кажется, никогда так люди не работали... Вот и мой Тихон Васильич... ввалился в три часа ночи, ткнулся в подушку и — как умер... А сейчас тоже собирается на завод. Сердце дрожит за него, как бы не свалился...

— Не свалится, Аграфена Захаровна, он — одержимый. Мы все сейчас — солдаты, все — на войне! Просто себя не узнаешь...

Тихон Васильевич глухо рычит из-за двери:

— Коля! Тринадцать тонн снял. Мозги кипят, понимаешь, и сон — дымом!

Ему сорок пять лет. У него обожженное лицо и налитые кровью белки. Кажется, что он постоянно в угаре. Но ходит крепко, широко, с развальцой, как силач. Пристально, не отрываясь, смотрит не в лицо человека, а куда-то через его плечо и усмехается себе на уме.

— Кировцы желают со мной драться, — добродушно объявляет он. — Пушай! Подраться и я непрочь. Люблю подраться, когда людей забирает: на душе веселей...

Я выхожу на улицу. Наш поселок — это целый город, с широкими улицами, многоэтажными домами, трамваем, бульварами и цветниками на площадях. Завод виден в конце нашей улицы, за площадью: над бульваром поднимаются цилиндрические стеклянные крыши цехов, трубы, градирни в облаках пара, огромные кирпичные корпуса, строительные леса и бетонолитейные вышки. Там еще ослепительно лучатся электрические огни. Утро туманится не растаявшей ночью; снег на крышах и на мостовой — синий, а небо как будто пушится инеем, и на западной половине еще мерцают рыжие звезды. На востоке — ярко-зеленая ясность. Торопятся к распределителям женщины с кошелками, сухой снег скрипит у них под ногами. Далеко, позади, позванивая, глухо грохочет трамвай — первые вагоны несутся из далекого города. За высокой оградой на той стороне улицы толпятся стволы сосен. Их вершины сплошным бархатом хвои сплетаются в тугую тьму. Со стороны завода доносится шум и шелест, точно ветер гуляет в этом сосновом парке... Эти звезды еще ярко распылены над Ленинградом, но там немецкие пушки расстреливают их. Там — черный мрак, и этот мрак потрясается взрывами снарядов. Гул разрывов раскатывается по пустынному городу громовыми волнами. Могу ли я хоть на минуту пользоваться радостью отдыха? Нет! Я должен в тысячу раз сильнее напрячь свою энергию, чтобы мстить врагу за страдания, за муки людей, которые изнемогают в плену блокады. Лиза, сынишка, отец, мать сливаются в моем сознании со всеми людьми моей страны в один образ бесконечно милого, родного человека.

На заводском дворе, между корпусами и в переулках — пустынно. Только вдали, на площадке, толпятся в морозном туманце серо-голубые самолеты с распластанными крыльями. Все они стоят как будто на дыбышках, живые,

нетерпеливые, готовые к полету. Направо, из ворот длиннейшего корпуса, с грохотом и лязгом, покачиваясь, выползает танк. Из башни угрожающе высовывается орудие. Оно, как длинная рука, указывает вперед, и кажется, что вот-вот выстрелит. На броне сидят и стоят рабочие и красноармейцы, кричат, смеются.

Мой цех — далеко, за зданием заводууправления. Снег на дороге вспахан, дорога в колдобинах, а на штабелях деталей эвакуированных машин и на кучах всякого заводского хлама снег лежит плисовыми сугробами, покрытый сажей и окалиной.

У станка работаю я уже восемнадцать лет, то есть половину своей жизни. Не отрываясь от завода, я окончил рабфак и затем посещал лекции в Институте литературы и языка. Пробовал даже писать стихи, рассказы, но ничего у меня не вышло. Впрочем, рефераты и доклады на литературные темы читал, кажется, не плохо. С ранних лет был охвачен я страстью к книге, и эта страсть будет гореть во мне до конца моих дней. Но прежде всего я — мастер оружия, воин оборонного труда. Я люблю свой станок, люблю делать вещи прекрасно — так, чтобы они играли, жили в моих руках, как произведения искусства. Иногда я испытываю подлинное волнение, когда беру в руки сделанную мною деталь: я люблю ее изящной формой, блеском ее лучей. Для меня нет высшего наслаждения, как сознание, что эта, созданная мною, вещь — не просто металл, механически обработанный фрезерами, а часть моей души, — моя любовь, мои искания, бессонные ночи. Соперники мои, старые мастера, должны были признать, что «перекрыть» меня, как они выражаются, невозможно. Я до сих пор хожу в лучших фрезеровщиках нашего района. Мои детали принимаются без проверки: самая надежная марка — это мое имя, чорт возьми! Но теперь, в дни гигантской войны, когда боевая техника в руках искусного воина решает многое, я обязан, кроме прекрасной обработки, дать деталей в десять, в двадцать раз больше. Одним увеличением числа оборотов станка не достигнешь цели. Нужно было вводить различные приспособления — заставить его работать одновременно по несколько деталей и производить несколько операций. Вот почему я занят каждый день, каждый час одной мыслью — усовершенствовать станок, заставить фрезеры работать так, чтобы весь механизм подчинялся малейшему моему дви-

жению, едва ошутимому прикосновению моей руки. И я достиг многого за эти месяцы.

С тех пор, когда наш завод был эвакуирован на восток, ни на одну минуту не прерывал я этих исканий, а здесь даже во время монтажа ломал голову над тем, как бы превратить станок в полуавтомат, чтобы на нем могли работать даже неквалифицированные рабочие, вплоть до подростков. Эта работа над станком и постепенное его оснащение как будто приближали меня к Ленинграду, к передовой линии фронта, к Лизе моей, к Игнаше! Ведь и я был военным человеком: в войне с белофиннами дрался как танкист и за боевые действия был награжден орденом Красного Знамени. Но меня, как лучшего фрезеровщика, отправили с заводским оборудованием на Урал. Мне приказали:

— Восстанавливай завод как можно быстрее! Армии ты там нужен не меньше, чем здесь. Делай оружие.

И я поехал. Наш эшелон шел до этого старинного уральского города три недели. Директор с главинжем улетели на самолете в день нашего отъезда, чтобы приготовить площадку, транспорт и выгрузку оборудования, чтобы обеспечить жилье для людей. Некоторые инженеры и рабочие ехали с семьями. Было сравнительно тепло, но по ночам мы дрожали даже в пальто. Стояли на редкость прозрачные дни. Небо было бархатно-синее, а поля плыли мимо нас оранжевые, точно в огне. Они волновались на солнце, охваченные пламенем. И ясные дали рисовались так отчетливо, что на крышах изб виднелась каждая соломинка. Над грустными перелесками носились густые стаи галок, и эти беспокойные стаи то вспыхивали черным роем, то таяли, сливаясь с небом.

Ехали мы печальные, с болью в душе, с злобным нетерпением — работать, работать! Если бы можно было пустить станки на вагонных площадках, мы, не задумываясь, принялись бы каждый за свое дело.

В первые дни постоянно над нами носились вражеские самолеты и сбрасывали бомбы. Но эти налеты были какие-то трусливые: самолеты держались очень высоко, в них стреляли из зениток, и они улетали. Впрочем, раза два они сбрасывали бомбы в станционные здания, в пустые вагоны и привокзальные деревни. Вспыхивали пожары. Мы отцепляли наши вагоны друг от друга и откатывали их подальше.

Рабочие и инженеры с семьями помещались в теплушках. Жена технолога Пети Полинцева, моего друга, не захотела остаться в Ленинграде и с девочкой, лет пяти, поехала вместе с нами. Она не отпускала от себя мужа, и я видел, как он бродил вдоль вагона, безучастный ко всему, или водил за ручку свою Верочку, хорошенькую щебетунью, на луг, где она рвала цветы или прыгала и звонко кричала. Тогда он оживал: лицо его светлело, он улыбался, хватал ее на руки и бегал с нею по траве. Жена, Наташа, подруга моей Лизы, не отходила от своего вагона и, когда видела Петю с дочкой далеко на лугу, звала их обратно. Несколько раз я пытался увести его куда-нибудь в поле или побродить по станционной платформе, но он оглядывался назад и чутко прислушивался, не зовет ли его Наташа. Меня это раздражало: чорт его возьми, жена и дочка рядом с ним, а у меня остались в осажденном городе... Он забыл, казалось, даже свои обязанности по отношению к нам, к своим товарищам, и к ценнейшему оборудованию, которое нам доверили.

— Я не узнаю тебя, Петя, — как-то сказал я ему хмуро. — Я понимаю: жена, дочка... постоянное беспокойство... Но, дорогой мой, почему ты ни разу не прошел по платформам и не проверил, всё ли в порядке?.. Это — твой долг. Да и немножко поразнообразил бы свои интересы.

Он вздрогнул, лицо его исказилось от боли.

— Я не хотел бы, Коля, выслушивать от тебя такие упреки... — сказал он глухо. — Ты думаешь, я не знаю?.. Но пойми: надо же считаться с больной женщиной... Ее психически контузило... Я был на заводе... спешно демонтировали... А тут бомбежка... Помнишь, дикая была бомбежка... Какой-то дурак сказал, что завод разнесло вдребезги и много людей погибло. Она прибежала безумная... И вот с тех пор... Одним словом, никак не могу привести ее в чувство... Ужасно!

Петя, обычно добродушно насмешливый, с лукавой искоркой в глазах, сейчас был какой-то надорванный. Я не ожидал, чтобы слова мои так больно потрясли его. Подавленный, он замолчал, и я видел, что он страдал от обиды: ему было тяжело, что я, его друг, связанный с ним с самого детства, не понимаю, не чувствую его. И я раскаялся, что заговорил с ним таким языком. Он нуждался в помощи, в дружеской поддержке. Я извинился и начал успокаивать его, но он махнул рукой и ушел от меня.

На другой день, когда мы стояли на одной узловой станции и с минуты на минуту ждали отправки, внезапно произошла катастрофа. Раздался сигнал тревоги, толпы людей бросились к вагонам, из теплушек выскакивали женщины, дети, старики и бежали через пути, в поле, чтобы спрятаться в ямах, в кустарниках, в ближайшем молодом лесочке. Я видел, как Петя нес на одной руке Верочку, а другой вел Наташу. Она шла как-то странно, с мертвым лицом, оледеневшим от ужаса. Потом он бегал вдоль поезда и вместе с нами стал разъединять и откатывать вагоны... В пылу работы мы не заметили, как налетели немецкие самолеты. Горячая воздушная волна толкнула меня в спину и затылок и свалила на землю. Я сейчас же вскочил и увидел вдали вихрь пыли и дыма. Обломки вагонов лежали на земле, и загнутый кверху рельс дрожал, как пружина.

Я старался хладнокровно расставить людей вдоль вагонов, чтобы откатить их как можно дальше один от другого. Бомбы взрывались где-то в стороне от путей. Потом затрещали пулеметы. Где-то рыдали, стонали женщины. Я пробегал мимо наших вагонов, видел бледных товарищей, которые толкали платформы как-то особенно старательно, вероятно, чтобы подавить страх.

В разных местах далеко за вагонами поднимались клубы дыма.

На траве и выемках лежали женщины и дети, вдали бежали в лесок несколько человек.

И вдруг я чуть не упал от потрясения: у меня помутилось в глазах, и мне померещилось, что я вижу куски растерзанного мяса. Внизу, под насыпью, на траве стояла Наташа на коленях, рвала на себе волосы. Около нее, переступая с ноги на ногу, покачивался Петя с Верочкой на руках и как будто убаюкивал ее. Его лицо застыло в мертвом спокойствии, только глаза прыгали, как у оглушенного смертельным ударом. Он топтался около Наташи и смотрел куда-то в пространство, как слепой, и все укачивал окровавленный трупик девочки. Кровь струилась у него по пиджаку и по брюкам.

Я сбежал к Пете и что-то кричал, хлопотал около него, но что было дальше — угасло в памяти. Помню только похороны убитых, помню, как я перебрался в вагон к Пете и ухаживал за ним всю дорогу. Наташа не приходила

в себя и по несколько раз в день билась в припадках. В первый же день приезда в этот город ее поместили в психиатрическую лечебницу.

II

Я вхожу в цех. Он залит электричеством. Всюду — и внизу, между станками, и вверху, среди перекрытий, — созвездия пронзительно-лучистых огней. В бесконечных пространствах корпуса — голубой дым. Ослепительно вспыхивают в разных местах зеленые молнии. Всюду — гулы и громы, земля под ногами дрожит и дышит.

Как всегда, я сразу ощущаю свою связь с моим станком. Я вижу его издали, и он приветствует меня, как живой, своим сиянием и какой-то особой теплотой. Мне чудится, что в нем живет мой дух — мой характер, мое душевное беспокойство.

Петя встречает меня в цехе, как обычно, бодрствующий, в пальто, чисто выбритый. В глазах его — затаенное страдание. Мне кажется, что дома, у себя в комнате, — один со своими мыслями, — он мечется, как зверь в клетке. Нужно обладать большой силой духа, чтобы владеть собою, работать спокойно, вдумчиво, внимательно и решать методически и кропотливо большие и маленькие вопросы технологии производства. К нему поступает множество всяких предложений от рабочих, и с каждым он говорит серьезно, обстоятельно, дружески-просто. Предложения бывают и полезные, а иногда и вовсе нелепые, но он с одинаковой пристальностью рассматривает те и другие. Хотя он иногда и доказывает человеку бедность его мысли и технологическую малограмотность, но всегда ободряет работника, поднимает в нем дух и веру в свои силы.

— Прежде всего тут важно беспокойство, — говорил он. — Раз человек заволновался, значит, будет расти.

Его строгое спокойствие кажется со стороны холодной деловитостью. В нем никто не нашел бы никаких внешних перемен, но я-то хорошо видел, какая буря происходила у него в душе. Его жгла одна мысль, одна жажда — мстить! Если он не может стрелять непосредственно на фронте, он должен разить врага, убийцу его девочки, отсюда. Гибель Верочки, безумие Наташи — это его личная мука, но эта мука неотделима от страданий миллионов людей, от моих страданий. И мы без слов понимали и чувствовали друг друга. Мы оба работали с одинаковой стра-

стью. Но эта страсть выражалась у нас по-разному: он как-то угрожающе замолчал и ушел в себя, крепко сцепив зубы, а я кипел, волновался и нередко не в состоянии был управлять собой.

Петя берет меня под руку и ведет по широкому проходу, в дымную, грохочущую даль, где вспыхивают молнии. Разумеется, он направляется ко мне в инструментальную мастерскую.

— Ну, показывай!.. — говорит он как будто равнодушно. — Хочу посмотреть, как проявляется в действии универсальность станка. Сегодня пускать не советую. На вахту станешь после «пересменки». Надо отдохнуть и подготовиться.

— Я уже проверял, Петя, не один раз. Пятнадцать норм верных. Сейчас сам убедишься.

Он — в курсе дела. Приспособление, над которым я ломал голову многие дни, общие и детальные чертежики, которые ворохами лежали у меня на столе, конструкция, которая наконец доведена до экономной и четкой простоты, — все это стоило огромной затраты сил. И, когда я почувствовал, что мысль додумана до конца и воплощена в вещественную форму, я в короткий миг пережил блаженство освобождения: точно я вынырнул откуда-то из тягостной глубины, полной грудью вдохнул свежий воздух и увидел просторы неба. И впервые я понял, что простота — самое трудное человеческое дело и что нет более сложных путей, чем искание этой простоты. Она кажется обидной после всех мытарств. Посмотришь на чертеж, усмехнешься: чего же ты возился столько времени, сжигал свой мозг, когда эта штука так же примитивна, как сковородник?

— На моем бы месте ты сделал бы все с максимальной экономией сил, Петя, — говорю я ему по дороге в мастерскую. — Если бы не твоя помощь, я корпел бы чорт знает сколько времени и измотал бы себя вдрызг. Скверно и невыгодно быть дилетантом.

Он смотрит на меня с проникновенной насмешкой друга, который видит меня насквозь. Потом с сердитой теплотой в голосе обличает меня:

— Однако на твоём месте никто еще не добился и не осуществил такого приспособления. Не сделал этого и я, как видишь, хотя я не только технолог, но и конструктор. Не притворяйся передо мной: я знаю тебя с беспор-

тошных лет. Ведь ты же видишь, что все дело — в идее, в озарении! К чорту эти твои жалобы! Надо сейчас быть свирепо уверенным в себе и думать, что ты даешь и будешь давать заводу то, что не дают другие.

Петя — потомственный ленинградец. Он родился и вырос в рабочей семье. Наши отцы — старые товарищи, они вместе боролись во всех трех революциях. Его старик не один раз сидел в царских тюрьмах и в пятнадцатом году сослан был на Лену. В Октябрьскую революцию был ранен при взятии Зимнего дворца, дрался на восточном фронте и был полковым комиссаром. Нам, ребятам, он охотно рассказывал о своих бесчисленных приключениях, и мы слушали его, затаив дыхание. Если бы застенографировать все его рассказы, была бы поучительная и захватывающая книга! Он близко знал Ленина и Сталина, и в его рассказах они рисовались мне и великанами, и очень близкими, очень простыми людьми, и юношески жизнерадостными, веселыми, сердечно горячими и такими же молодыми, как мы с Петром. Это была на редкость дружная и радостная семья. Кроме Петра, было еще трое ребят. Младшему из них, двенадцатилетнему Гришке, нравилось крутиться около нас, зрелых комсомольцев. Жили мы во весь размах — бурно, шумно жили: и оглушительно спорили, и танцевали, и устраивали шахматные турниры, и занимались спортом — футбол, лодочные гонки на Неве. И что мне особенно было по душе, — это то, что отец их, как молодой, принимал самое живое участие в наших делах. Я приходил в восторг, когда он, возвращаясь с завода, кричал юношеским голосом:

— А ну-ка, ребята, готовьтесь к волейболу! Вываливай на двор!

Мы с Петром пребывали уже на рабфаке. Петр выбрал себе институт машиностроения, а я стремился на завод — к фрезерному станку. Мой выбор осчастливил моего старика: он был фанатиком заводского труда и к тяге молодежи во втузы относился с угрюмою настороженностью,

— Избалуются, — ворчал он, посматривая на меня колючими глазами из-под лохмато-серых бровей. — Избалуются, разболтаются... словоблудами станут...

Заводской труд меня очень привлекал, и я нетерпеливо ждал выпускных экзаменов в школе. Самым большим удовольствием для меня было блуждать по заводским цехам. Многие часы проводил я около станков и, как заво-

роженный, следил за работой фрезерных машин. Они казались мне волшебными. Ко мне привыкли, у меня появились там друзья, и я часто сам становился у станка. Какому-нибудь парню было интересно возиться со мною, как с понятливым и любознательным юнцом. И, когда я пришел в цех как ученик, я там уже был своим человеком и станок был уже послушен моим рукам.

Петя устроил мне скандал: как это можно бросать учебу на полпути? Самый гнусный недостаток у людей, подобных мне, это — не доводить дело до конца. Недоучка — это не человек, а дробь человека. Он оттаял немножко, когда я поклялся ему, что буду поглощать науки, не отрываясь от производства. Но потом, когда я заявил ему после окончания рабфака, что решил изучать литературу, он изумился:

— Ты, Колька, просто чудак какой-то...

Но это еще больше укрепило нашу дружбу, а ведь самая душевная дружба — это буйная дружба юности.

...В инструментальной мастерской я работал как слесарь над деталями приспособления для станка. Никогда, кажется, я не переживал такого вдохновенного волнения, как в этот короткий час. И потом весь день до вечера я не мог успокоить своего сердца. Незачем описывать здесь конструкции приспособления. Мои чертежи останутся в архиве заводоуправления, а мои мысли и удары моего сердца угасают вместе с прожитым днем. Я хочу писать повесть моей души.

Этот год был самым сложным в моей жизни. Мне кажется, что жить и работать в тылу — несравненно труднее и мучительнее, чем быть на фронте. Ненависть к врагу требует битвы с ним лицом к лицу. Расстояние в тысячи километров терзает душу тишиной неба и суровой трезвостью труда. Чтобы преодолеть эту отдаленность, недостаточно одного умозрительного напряжения. Надо обладать острым чувством видения и страстью бойца, сердце которого кровоточит гневом...

III

Перед тем как стать мне на сталинскую вахту, в цех свалилось начальство во главе с директором Павлом Павловичем Буераковым — низеньким, коренастым человеком с красным лицом, с хитрой искоркой в щелочках

глаз. Буераков носит все серое — серое пальто, серую широкополую кепку, серые замшевые сапоги. По своей полноте он должен был бы ходить тяжело, с одышкой, но он стремительно несется впереди всех и покрикивает молодым тенорком. Всех он знает в лицо и по именам, знает нрав каждого рабочего, помнит о таких событиях его жизни, о которых и сам рабочий забыл. Его звонкий и веселый голос еще издали слышен в цехе.

— Здорово, Гришин! Как дела? Жена-то еще плачет по Ленинграду? Ага, и ты, Костя, на глаза мне попался... Ты что же это, курносый, не дотянул вчера?.. А я-то надеялся на тебя, дружок!..

От этого его жизнерадостного голоса и приткности в цех как будто влетает свежий ветер. Буераков тоже наш, ленинградский, и здесь он точь в точь такой же, точно война и пережитое испытание совсем не отразились на нем. А ведь только благодаря его энергии, настойчивости и находчивости завод заработал на полный размах раньше положенного срока. Эта его живость и веселый дух немало способствовали поддержанию у всех бодрости, неутомимости и упорства. Он — опытный инженер и протыга. Без него и завода как-то нельзя было представить.

Рядом с ним широко шагал длинноногий, длиннолицый главный инженер — Владимир Евгеньевич. Лицо у этого — холодное, замкнутое, тонкие губы сжаты так крепко, что очень редко услышишь его голос. Особенно неприятны у него глаза: они смотрят в упор на человека, но словно не видят его. Они и беспокоят своим безучастием и оттапливают своей пристальностью. Но это — человек кроткий и сердечный. Он сросся с заводом и весь без остатка растворился в нем. Ни одно рационализаторское предложение, ни одно нововведение не прошло без его участия.

За ним шел с Петей парторг ЦК, Алексей Михайлович Седов, смуглый, с горячими глазами, похожий на цыгана.

Я волновался, но старался быть спокойным, невозмутимым, и мне было приятно, что эти люди посматривали на меня с недоумением: они думали застать меня в лихорадке, а я даже не обращал на них внимания, поглощенный возней у своего станка.

В этот час я пришел в цех, как обычно приходил на

смену: без лишних разговоров занял свое место, надел халат и молча, с методической неторопливостью проверил мотор и свое приспособление, подсчитал и привел в порядок заделы. Ко мне никто не подходил, не задавал вопросов — знали, что во время работы я всегда был неприветлив. Теперь тем более мое рабочее место было как бы в заколдованном круге. И только мельком встречал я пристальные взгляды моих друзей и справа и слева. Старые рабочие делали вид, что они не менее заняты, чем я, а молодые, кажется, волновались сильнее, чем я сам.

Буераков еще издали протянул мне руку и закричал юношеским тенорком:

— Здорово, здорово, Николай Прокофьевич! Как оно у вас? Готово? Мешать вам не будем, а событие отметим в нашей братской семье. Ну, ну, брат, не протестуйте! Это — не ваше личное дело! Мы не торжество устраиваем, а ставим серьезнейший вопрос об ответственности, о помощи фронту.

И сразу же, без всякого перехода в интонации, с той же юношеской звонкостью в голосе сообщил:

— Между прочим, твой старик работает героически, на зависть другим. А Лиза просто молодец: бодрa, активна как комсомолка. Об Игнате она ничего вам не сообщила?

— А что? — бросился я к нему. У меня замерло сердце. — Случилось что-нибудь, Павел Павлович?

— Ничего, ничего... все — в порядке...

И опять без передышки крикнул высоким, пронзительным голосом в глубину длинного, сияющего электричеством, многолюдного цеха:

— Товарищи! Друзья! Эта смена — исключительная на нашем заводе. Николай Прокофьевич Шаронов становится на сталинскую вахту с обязательством дать к концу смены пятнадцать норм. Никогда еще на фрезерных станках никто из мастеров не давал таких рекордов; хочется верить, что товарищ Шаронов свое обязательство выполнит. Я не удивлюсь, если он и этот рекорд перекроет. Наш русский человек — особый человек: он невозможное делает возможным. Он всегда поражал мир своим талантом дерзания. Доказал он это победами в эпоху сталинских пятилеток, а теперь — и на полях сражений и на трудовом фронте. Завтра утром товарищ Шаронов даст нам отчет результатом своей работы. Это бу-

дет новая победа тысячников. Тысячники появляются везде, но это все-таки единицы — отдельные герои. Шаронов прокладывает дорогу массовому движению победителей — это дорога людей новой формации — носителей единства физического и умственного труда. Это — бойцы, которые разят одновременно и нашу рутину и фашистского зверя. Пожелаем же Николаю Прокофьевичу (он поднял руку и повернулся ко мне), нашему товарищу и другу, прного успеха!

Аплодисменты.

Я не привык к таким торжественным минутам. Поэтому я с глупым видом сконфуженного человека, с скрытым раздражением принужден был выйти из-за станка.

— Становясь на сталинскую вахту, — сердито сказал я, — даю твердое обязательство, товарищи, выполнить по возможности больше, но не меньше пятнадцати норм.

Я удержал Павла Павловича и посмотрел ему прямо в глаза. Он смутился.

— Все-таки, Павел Павлович, вы мне должны сказать, что случилось с Игнатом. Я становлюсь на серьезное испытание, а вы меня лишаете равновесия... Говорите, Павел Павлович!

Директор сделал вид, что сначала испугался, а потом вздохнул с облегчением.

— Уф, шайтан вы этакий! Вот обрушился на меня!.. Ну... так вот вам: летчик Игнат Шаронов награжден Золотой Звездой и так далее. Поздравляю! И... и на сегодня хватит! Желаю вам блестящих успехов.

— На сегодня?... Значит, у вас есть что-то еще?

Он отмахнулся и прытко побежал от меня назад, к выходу. За ним поспешили и другие.

Никогда я еще не приступал к работе с таким светом в душе: прямо весеннее половодье! Сначала я был охвачен одним чувством, которое вызывало радостную дрожь в груди и руках — какое-то сверхвольное ликование: Игнат — Герой Советского Союза, Лиза — бодрая, как комсомолка!.. И это охватившее меня чувство немного мешало работать с нужной расчетливостью и ритмичностью. Я завидовал Игнаше, уносился в мечтах в Ленинград. Там каждый клочок земли дорог мне с детства... Меня трясло от ярости и нестерпимой ненависти к поганой немецкой солдатне. В Павловске — волчьи морды; в Пушкине — в парке, где кудрявый юноша мечтал о

вольности, где его лицей, — алчные волки; в Петергофе, где мы проводили белые ночи, — громилы, уничтожившие дворцы и фонтаны... Разве можно забыть об этом хотя бы на миг?

...Однажды на Кавказе я случайно участвовал в отряде казаков, которые по набату собрались большой толпой и на конях и на тачанках помчались на борьбу с саранчой. Впервые я увидел эту омерзительную тварь. Она ползла неудержимо сплошной хитинной массой, тускло поблескивая на солнце зелеными полушариями глаз. Она ползла на хлебные поля, чтобы пожрать их в несколько часов. Сотни, тысячи людей рыли глубокие канавы, а вдали от края и до края верховые гоняли лошадей с каменными катками, чтобы давить эту нечисть. В наши канавы водопадом сыпались маленькие чудовища, но не могли подняться вверх по отвесно срезанной стенке. И вот канава быстро наполнялась кишасцей грязно-зеленой массой. Мы сбрасывали лопатами землю на эту живую мерзость, хоронили ее и с гадливостью смотрели, как шевелится земля. Мы бежали назад, на новую линию, чтобы копать новые окопы, люди ждали врага с лопатами в руках, и этот враг кипел на солнце, рвался через канавы, и казалось, что ему не будет конца...

Немцы... Да, это — саранча, которая ринулась на нашу страну! Это — орда палачей, обезумевших от расстрелов и виселиц, пыток и расправ над мирными людьми. Горят деревни, взрываются города, и на пустынной дороге под низкими тучами идут бесконечные вереницы женщин и детей под конвоем солдат. Пленники, угоняемые в рабство — на медленную, мучительную казнь... Так могла бы итти под дулом врага, по грязи, под холодным дождем в безнадежную даль моя Лиза за руку с Лавриком...

Эти картины часто преследуют меня.

Но сейчас сердце мое радовалось — торжествующе стучало в груди... Игнаша получил Золотую Звезду!.. Мне хотелось смеяться, по-мальчишески топтать ногами и петь. Чудилось, что и мой станок смеется и лукаво подмигивает мне блеском своих деталей.

Я снимаю первую группу изделий и обследую их с привычной привередливостью и инстинктивной тревогой. Я вижу внимательные глаза моих товарищей, которые пристально следят за мною. Мое лицо, вероятно, бледно.

Я перевожу рычаг коробки скоростей. Пульс ускоряется. Должно быть, такой же восторг испытывает и он, Игнаша, когда дерзко, в одиночку, нападает на несколько самолетов врага и разит их верно и расчетливо или прорывается сквозь бурю зенитного огня и пикирует над немецкими танками, батареями, эшелонами.

Ко мне подходит Петя, он делает вид, что заинтересован работой гидравлического пресса, который стоит за мной, в среднем проходе, как триумфальная арка: подняв голову, он рассеянно следит за этим огромным сооружением и как будто не одобряет медленных и упругих его движений. Но я очень хорошо знаю, почему он остановился около моего станка. Ведь у него тоже взволнованно бьется сейчас сердце. Мне кажется, что лицо у него осунулось, губы почернели. Я смеюсь, поглядываю на него исподлобья, машу ему рукой. Он подходит, вопросительно подняв брови. А когда встречает мои смеющиеся глаза, пожимает плечами, потом делает свирепое лицо и показывает кулак. Он берет детали, осматривает их, потом устремляется к станку и весь уходит в наблюдение.

— Отлично, Коля. А сколько же все-таки?.. По моему расчету, выйдет больше пятнадцати...

— Будь спокоен, Петя!

— Не сомневаюсь. Ведь это только начало...

Он исчезает за другими станками. Но, когда он выходит в переулок налево, я вижу, как его окружают фрезеровщики и не пускают дальше. Сжав зубы, я беруся за рычажок коробки скоростей: чорт побери, даю до последнего предела....

Утром пришел Алексей Михайлович Седов — пришел один, с угарно-красными глазами от бессонницы. Он застенчиво улыбнулся, робко спросил:

— Я не помешаю тебе, Николай Прокофьевич?

— Милости прошу, Алексей Михайлыч!

— До сих пор я считал себя неуязвимым. Но в эту ночь я метался, как в клетке...

Я засмеялся.

— А я, наоборот, Алексей Михайлыч, чувствую себя бодрее и свежее, чем вечером, когда вы, извините, почтили меня торжественным посещением.

— Ну, брось, Шаронов! Неужели не понимаешь, что это... не для тебя нужно было?.. Скажи: сколько же?

Я сдержанно сообщил:

— Надеюсь до конца смены довести до шестнадцати — семнадцати норм.

— О, это — наша огромная победа, — взволнованно сказал он, и глаза его заблестели радостью. — Спасибо, Коля!

И он крепко пожал мне руку.

Седов — тоже мой товарищ юности. Но он сделан из другого материала, чем мы с Петром Полынцевым. Он всегда — за какой-то гранью, всегда как будто засекречен.

В перерыве я не ужинал: есть не хотелось. Я был охвачен таким возбуждением, такой страстью, таким душевным восторгом, что физически ощущал себя радостно сильным, и эта радость телесной силы как бы опьяняла меня. Я ничего не видел вокруг себя, подстегивал свою машину и с наслаждением чувствовал хруст и скрежет фрезеров, которые въедались в металл. Сыпались серебристые стружки и опилки. Эмульсия била струями на фрезеры и вспыхивала золотыми брызгами. Рокот и разговор машин, вздохи и криканье гигантских прессов и гудение электромоторов не воспринималось мною отдельно, как отдельно от меня не жил и мой станок.

После гудка из всех проходов бросились ко мне рабочие и окружили меня. Они трясли меня, хватили за руки, возбужденно кричали со всех сторон:

— Ну, как, Прокофьич?..

— Сколько же?.. Неужели семнадцать?

— Что он сказал?.. Да не может быть!.. Вот это—да!..

— Шаронов, дорогой!.. Качать его, ребята!..

И сразу же меня оглушили рукоплескания.

Навстречу мне шла целая свита во главе с директором.

— Поздравляю, поздравляю, Николай Прокофьич! Дайте-ка, я обниму вас, хороший мой, дорогой мой товарищ! И здесь... да, да! и здесь показал свою доблесть героический Ленинград...

Сам собою начался митинг.

IV

От корреспондентов нет отбоя, но с ними я несловоохотлив, даже грубоват.

Я неласково отсылаю их в заводоуправление, в партком, в партбюро, где они могут найти все интересующие

их материалы, и прошу оставить меня в покое — не отрываться от работы. Но это не производит на них впечатления: наоборот, они начинают шутить и заигрывать со мною. Тогда я бегу в конторку, где обычно собирается цеховая администрация, и коротко, но крепко заявляю:

— Товарищи, убедительно прошу сейчас же освободить меня от уважаемых представителей печати. Иначе я буду бросать в них болванками.

Это действует. Хотя администрация и хохочет, но кто-то поднимается и выходит с ворчливым недовольством.

Мне становится не по себе: в последних известиях по радио произносится мое имя. Меня называют пионером движения тысячников, революционером, создавшим новые методы труда.

После ночной смены я пришел домой необычно бодрый и счастливый. Я с удовольствием умылся, смочил мокрым полотенцем грудь и лопатки. В прихожей встретил Аграфену Захаровну. Она стояла в дверях кухни и своей ласковой улыбкой заставила и меня улыбнуться. Эта деликатная женщина, кажется, инстинктивно чувствует нас, мужчин, — и мужа и меня: она знает, когда нужно молчать и не показываться на глаза, знает, в какую минуту встретиться и сказать свое простое слово, знает, когда постучать в дверь и пригласить к себе попить чайку. Ни одного грубого слова не слышал я от нее, ни одной жалобы на житейские лишения и неудобства. И, когда она рассказывает о том, как по несколько часов стоит в очереди у магазина на морозе, в толпе иззябших женщин, она по-своему добродушно жалеет не себя, а их.

— Ведь как люди-то измотались!..

Проходя мимо нее, я спросил по-свойски, кивая на закрытую дверь в их комнату:

— Спит?

Она притворно негодуяще отмахнулась.

— Насилу уложила, поперешного! Сама и умыла и спину натерла ему. Как маленький какой... У него, вишь ты, битва идет... Так вот неймется грешнику — рвется опять к печи. Надавала ему тумачков, разула, раздела, толкнула в кровать и дверь заперла... — И с милым злорадством она засмеялась. — Пускай его, дикошарого... Ни за что не выпущу. Завоет — отхлещу... За вас вот еще надо приняться... Зайдите ко мне, Николай Прокофьевич: чайку выпейте — свеженький.

— Чайку выпью, Аграфена Захаровна, — выпью именно с вами, потому что вы — превосходная женщина.

Она всегда спокойна, точно ничто ее не удивляет. Кажется, случись пожар или налет немецких самолетов, она останется такой же невозмутимо тихой, внимательной и так же будет стирать пальцами улыбку с губ. Она неторопливо позаботится о муже, обо мне, с настойчивой лаской уведет нас в безопасное место, а потом уж пойдет спасать свое хозяйство. С первого взгляда кажется, что она ко всему равнодушна, что для нее на свете не существует ничего нового. Но присмотришься и удивляешься: сколько в ней материнской нежности, внимательности и чуткости! Она знает, какие страдания переносит моя Лиза в отрезанном от всей страны Ленинграде, знает, какая у меня боль в душе, знает, что я не только в цехе, но и дома охвачен одной мыслью, одной страстью—бороться за мой Ленинград, за моих людей, за мою страну, — она знает об этом, все замечает, и все же я ни разу не слышал от нее ни вздохов, ни скорбных утешений.

Я сел вместе с нею за столик в кухне. Плита пылала жаром, на плите что-то клочкотало и пытело. Аграфена Захаровна молча налила мне стакан крепкого чаю, открыла духовку и вынула из ее черной глубины противень с румяными ватрушками. Так же безмолвно и заботливо сложила их на тарелку, поставила на стол ближе ко мне.

— Ну что вы делаете, Аграфена Захаровна! — растроганный, возмутился я. — Разве теперь можно отрывать от себя такую драгоценность? Вот я слопаю у вас эти ватрушки — что тогда будет есть Тихон Васильич?

— Ешьте, ешьте, Николай Прокофьевич... на здоровье! Всем хватит. Очень я люблю, когда мое кушанье нравится...

Она стояла с деловым видом и ожидала, когда я возьму ватрушку.

— Не возьму, пока вы со мной не сядете.

— Есть мне время рассиживать с вами... Надо вот в магазин поспешать: там очередь у меня занята.

Но все-таки присела — присела, чтобы поближе подсунуть блюдечко с мелко наколотым сахаром.

— У меня — свой сахар, Аграфена Захаровна. Что за расточительность!

Она вскидывает на меня серые умные глаза и с упреком качает головой. Мне неловко от своей мелочности,

точно я неосмотрительно оскорбил ее. И, вероятно, для того, чтобы я почувствовал себя непринужденно, она наливает себе чашку чаю, берет ватрушку и бережно ломает пополам. Горячая, пахучая, с поджаренной корочкой, она вкусно потрескивает. Крошки творога падают на стол, и Аграфена Захаровна истово подбирает их щепотью. Я беру ватрушку, вонзаю в нее зубы и с наслаждением ощущаю горячую корку, чудесный ее хруст и аромат обжигающего десны творога.

— Эти шанишки все скушайте, Николай Прокофьич: для вас пекла. Ночка-то ведь у вас была не легкая. Трудно, трудно, а свое взяли!

— Откуда это вы знаете, Аграфена Захаровна?

— Вижу. Глаза-то у вас, как у малого ребенка. И шанишка моя нравится вам.

— Очень вкусно, Аграфена Захаровна: кажется, только в детстве ел такую прелесть.

— Когда на душе хорошо — и ешь с аппетитом, Николай Прокофьич. У вас никогда не будет неудачи.

Я засмеялся.

— Вот те раз! У всех же бывают неудачи!

— А у вас не будет. Может, и были когда неудачи, по глупости, а сейчас нет. Вы — как мельница: все перемалываете, а выходит — золото. Как мой бирюк. У вас у обоих сна спокойного нет. Не работаете вы, а бушуете. Сегодня мой сталевар пришел, как чорт из ада: будто весь в огне. И одно бормочет: не свалить меня кировцам! Они, язвы их душу, одну задачу решают, а я две... Ну, сижу около него, глажу по голове, а он бормочет, бормочет...

Она встала, стерла улыбку с губ, потом подмигнула и наклонилась над моим ухом.

— Ежели будет мой недосыпа бунтовать, и голоса не подавайте. Лежите себе и — ни гу-гу... Почует, что дома никого нет, — и опять грохнется на постель. Такой уж...

— Писем мне нет, Аграфена Захаровна?

Она промолчала и начала одеваться.

— Почему так долго не пишет мне Лиза — ума не приложу...

Она недовольным тоном утешила меня:

— Там-то ведь тоже дерутся... Не только вы с Тихоном...

И вышла в прихожую, одетая в овчинную шубу, закутанная в теплую шаль. Потом быстро возвратилась и постучала пальцем по столу.

— У меня все съешьте... обязательно!.. Лучше не расстраивайте...

Эта ее простая, домашняя заботливость трогает меня.

Их уплотнили — отняли для меня комнату. Значит, я нарушил их жизнь, стеснил их. Старый, заслуженный рабочий, которым завод гордится как высоким мастером, он в праве пользоваться спокойным отдыхом. Но он принял меня радушно, даже как будто с удовольствием.

— Ничего, не беспокойся, Николай Прокофьевич. В тесноте, да не в обиде. Теперь людям надо быть теснее, а когда теснее, значит сильнее.

В те минуты, когда я сидел перед ними застенчиво и смущенно, Аграфена Захаровна стояла поодаль и молчала. И я думал тогда, поглядывая на нее, что она должна ненавидеть меня, как недруга. Когда я робко спросил, могли принести свои вещички и переночевать хотя бы в кухне, она улыбнулась и тут же стерла пальцами свою улыбку.

— Это зачем в кухне-то, Николай Прокофьевич? Сами ведь видели: комнатка ваша свободная — располагайтесь, как душа хочет. Вот Тихон Васильич пойдет с вами и поможет перенести ваши пожиточки. С какой стати стесняетесь-то? Свои ведь люди-то. Вы вон сколько выстрадали! У вас, должно, и сердце-то все почернело...

А Тихон Васильевич, щетинистый, с обожженным лицом и кровавými белками, коренастый, пахнувший окалиной, добродушно улыбался и подмигивал мне, кивая головой на жену:

— Она у меня характером не крикливая, без штурмовщины, но сердце всегда с нагревом.

И как я ни старался отбиться от помощи Тихона Васильевича, не смог убедить его, что вещей у меня — только чемодан, походная койка и постелька, что я сам перенесу все без труда, тем более, что все это находится рядом, во Дворце культуры. Он молча, с затаенной усмешкой, оделся, а Аграфена Захаровна, довольная, уже улыбочки своей не стирала с губ.

Тогда Тихон Васильевич произвел на меня странное впечатление: вел он себя благодушно, снисходительно, но прямо в глаза мне не смотрел. Не смотрел он и на Агра-

фену Захаровну. Мне было очень неловко: я решил в тот вечерний час, что я — нежеланный для них постоялец, что он подчиняется только необходимости. Это ощущение неловкости мучило меня несколько дней. Когда мы шли с ним в полутьме по тротуару, навстречу заводским огням, он туго молчал и хрипло покашливал. Казалось бы, у него могло быть много вопросов ко мне — ну, хотя бы о Ленинграде, о боях на его подступах, о работе заводов в эти страшные дни и ночи, когда небо — в огне, в грохоте, в реве самолетов. Мы разгрузили свои эшелоны на территории этого уральского гиганта и сейчас же начали монтировать корпуса, постройка которых законсервирована была с первого же дня войны и стены которых не доведены были еще до половины. Кроме того, мы уплотнили еще три старых цеха, разделив площадь каждой «коробки» пополам. Этот город, как и все промышленные места Урала, взбудоражен, и все пространство от северного до южного хребта грохочет металлом и волнуется сотнями тысяч людей, дорожных, измученных, непрерывно днем и ночью прибывающих с эшелонами. В старом городе все клубы, некоторые школы, музеи и корпуса университетского поселка были заняты под заводские цехи. Улицы, дворы и бульвары загромождены свалками всяких машин и ржавых больших и маленьких деталей. Толпы людей возились среди этих нагромождений, тащили в двери и проломы стен станки, чугунные станины и огромные части машин. А квартиры в коммунальных общежитиях уплотнялись доотказа, и приезжие инженеры и рабочие вселялись по несколько человек в одну комнату. Единственная гостиница в городе и Дом крестьянина тоже были забиты людьми, а в вестибюлях и коридорах лежали и сидели на своих пожитках женщины и дети с покорными, измученными лицами.

Мы шли с Тихоном Васильевичем, толкаясь плечами, и молчали. Шаги у него были тяжелые, грузные, и я шел рядом с ним как-то легкомысленно и бойко. Должно быть, в его глазах я был смешным и легковесным. Его молчание утомляло меня, но это ему, кажется, доставляло удовольствие. Я не выдержал и несколько вызывающе сказал:

— Мы здесь не считаем себя гостями, и Урал для нас тоже свой дом, однако мы свалились на вас, как обвал. Кое-что придется, вероятно, поломать у вас, Тихон Васильич, а кое-что и заново сделать.

Он, казалось, остался равнодушным к моим словам — молчал и посапывал. Мне стало еще более тяжело, и я начал злиться: какого чорта он сопит, как медведь! Неужели ему безразлично, что переживает страна? Я хотел было сердито спросить его, как же другие рабочие относятся к нашему вторжению в их завод, у которого, несомненно, много было старых традиций, но он вдруг проговорил добродушно:

— Все утрясется, все свое место найдет... и люди друг к другу притрутся... Рушить-то легко, а вот собирать-то каково!..

— У нас — жесткие сроки, Тихон Васильич: через месяц завод должен работать на полный размах.

Он опять долго молчал, потом усмехнулся и крикнул недоверчиво:

— А чего ж? Всяко возможно. Сроками не играют. Насколько можем, и мы поможем.

Такой разговор был и на обратном пути. Он нес мою коечку и чемодан, а я — постель и какой-то зашитый тюк.

Он обладал удивительной способностью не спать по суткам и сохранять обычное свое спокойствие — спокойствие сильного человека. И, если ложился в постель, засыпал мгновенно. Его храп и мычанье были потрясающи. Но очень часто бывало, особенно в последнее время, что он просыпался через час, через два и выходил из комнаты с разбухшим от сна лицом, но с лукавой свежинкой в глазах. Белки у него всегда были кроваво-красные, но глаза не болели.

В это утро произошла с ним смешная история. Я с наслаждением прикончил свои ватрушки, осмотрел плиту — как бы не выпали угли на пол — и прошел к себе в комнату. И, как только увидел свою койку с уютной подушкой и ласково-мягким одеялом, сразу почувствовал, что устал смертельно. Раздеваясь, я забылся, охваченный сном, и стены, и столик, и синие утренние окна теряли свою реальность: все казалось зыбким, все чудилось несостоящим...

Проснулся я от страшного грохота и рева. В первое мгновение я почему-то был уверен, что нахожусь в Ленинграде, что немецкие самолеты бомбят город, что фугасы рвутся где-то рядом, в доме и на улице — какая-то суматоха и крики толпы. Но вдруг увидел мирные стены ком-

наты, рабочий столик и успокоился. В дверь ко мне кто-то настойчиво стучал кулаком. Я вскочил с кровати.

— Кто там?

Я открыл дверь, но в прихожей никого не было.

— Груня! — беззлобно басил Тихон Васильевич. — Ну не дури, Груня, отопри!

Хотя у меня ломило голову и сон сковывал глаза, но я не мог удержаться, чтобы не захохотать.

— Не бунтуй, Тихон Васильич, — успокоил я его. — Покорно ложись спать и дрыхни до прихода Аграфены Захаровны. Ушла, брат, и надежно заперла тебя на замок.

Он разъяренно вздохнул:

— Ну и лихорадка!.. Тут на завод нужно, понимаешь, а она... Будь верный друг, Николай Прокофьич, — возьми кочергу и сломай эту дурацкую штуковину.

— Не могу, Тихон Васильич. Из любви к тебе и из уважения к Аграфене Захаровне не могу: она строго-настрога запретила мне даже подходить к двери. Хотя я и сочувствую тебе, но в жизни никогда замков не ломал.

— Фу, ты, язви тебя!.. Ведь товарища освобождаешь... чуешь? Ломай, говорят тебе!..

Стараясь говорить строго, я едва боролся с клопочущим смехом. Здоровый детина, которому ничего не стоило одной рукой сорвать запор (и замочек-то был плёвенький — на тоненьких колечках), Тихон Васильевич топтался перед дверью и бормотал:

— Ведь вот черти каленые! Заперли человека — и горя мало. Пойми, где это видано, чтобы знатного сталевара на запоре держать? Да еще в собственной квартире! Добром говорю: освобождай!

— Потерпеть придется, Тихон Васильич. Аграфена Захаровна сама выпустит тебя. А пока полезно тебе подрыхать. И не проси — на шаг не подойду.

Он был сконфужен, бухал пятками по полу и вздыхал.

— Вот стервецы! Сговорились, как тюремщики. Уважал я тебя, Коля, а теперь хорошо знаю, какая тебе цена. Трус ты и боле ничего. Баба проказы надо мной строит, а ты, знаменитый фрезеровщик, на задних лапках перед ней. Ну, ответь честно: кто тебе дороже — она или я?

— Мне дороже всего, милый мой, верность. Не могу нарушать распорядков в доме моих друзей. Кроме того,

вполне разделяю убеждение Аграфены Захаровны, что тебе надо основательно выспаться. Да и мне не мешай: я тоже нуждаюсь в отдыхе.

И я решительно захлопнул дверь.

— Ну, черт с вами, язви вас в душу! Полежу с час, а ежели Грунька не явится — погром устрою...

V

Проснулся я в час дня. Спал без просыпу, без сновидений. Впрочем, не сам проснулся, а разбудил меня стук в дверь и голос Аграфены Захаровны:

— Да будет вам, Николай Прокофьевич, стонать-то! Как немой воете. Вставайте — хорошо поспали.

— Встаю, Аграфена Захаровна. А как Тихон Васильич? Не разнес перегородку?

Аграфена Захаровна засмеялась.

— Удрал уже... на заводе... Пришла, а он дрыхнет во все завертки. Сама разбудила. Разъярился, как зверь... Гляжу на него, а меня так всю и трясет от смеха. Ну, видит, что меня страхом не возьмешь, давай сам хохотать...

— Какая вы хитрая, Аграфена Захаровна!

— Ну-ну, хитрая... С вами без хитрости ничего не сделаешь... А вы вставайте-ка попроворней... Директор к вам приезжал. Хотела вас поднять, да не велел: никак, говорит, нельзя, пускай выспится. В час, говорит, заеду. Видать, человек хороший.

Я вскочил с койки и начал торопливо одеваться. Меня охватило беспокойство. Почему именно Павел Павлович сам заехал ко мне на квартиру? Ведь этого раньше никогда не случалось. Значит, что-то важное заставило его вернуться ко мне. Вспомнился вчерашний разговор об Игнаше... Игнаша — герой Советского Союза. Эта радость не потухала в сердце даже во сне. Но Павел Павлович не сказал всего: он утаил что-то от меня... Он знал меня хорошо и был, очевидно, осторожен со мною. Он отделался от меня шуткой. Я тогда сразу же почувствовал, что он не сказал мне всей правды, но эту остальную правду я относил к подробностям подвига Игнаши. А теперь сердце сдавило предчувствие. Не произошло ли какой-нибудь беды с Лизой? Нет, о ней он говорил бодро и весело. Отцом он тоже восхищался. Уж не погиб ли Лаврик? Но на

мой вопрос он ответил обычной фразой: «все в порядке». В чем же дело?..

Я включил чайник, подошел к окну и стал прислушиваться, не шумит ли машина. На улице было тихо. Мимо окна проходили тепло закутанные женщины с мешочками, с кошелками, с салазками. Проехал воз с дровами. Лошаденка — мохнатая от инея, и от нее шел пар. Бородатый старик в залатанной шубейке шел рядом с нею и держался за оглоблю. Я сел к столу и открыл книгу Гюлле о фрезерных станках, но сейчас же отбросил в сторону. Загудела машина. Я вскочил со стула и бросился к окну. Прогромыхал грузовик с казенной мебелью.

Почему непременно Павел Павлович должен приехать с дурными вестями? А может быть, он хочет поговорить со мною с глазу-на-глаз о Пете, который переживает тяжелую драму и с которым я близок, как никто?.. Не исключено и то, что Павел Павлович, может быть, на-днях полетит в Ленинград, куда он уже летал один раз, и сейчас хочет поговорить со мною о том, что передать Лизе на словах и какие поручения я мог бы дать ему... Но эти мысли не успокаивали меня.

Я не заметил, как подъехала машина, как позвонил звонок, услышал только голос Буеракова в прихожей. Я бросился к двери, распахнул ее и встретил прищуренную улыбку Павла Павловича. Он быстренько вошел в комнату и, потирая руки, крикнул:

— Ну и морозец, скажу я вам!.. Здорово закручивает... с уральским перцем...

Я схватил его за руку и крикнул:

— Ну почему вы меня не разбудили, Павел Павлыч? Это — возмутительно!

Он встряхнул мою руку и с упреком поглядел на меня.

— Ну, вот еще!.. С какой же стати? Вам нужно было выпасться как следует. Заезжал я на всякий случай.

В глазах его уже не было обычной хитринки. Мне даже показалось, что он немного смущен.

— У вас чайник кипит. Вот стаканчик чайку я выпью с удовольствием.

Он сел к столу, оглядел комнату, вынул из кармана трубку и резиновый мешочек с табаком. Я заварил чай и приготовил посуду. Буераков не находил слов для разговора и чувствовал себя как будто неловко. А я никак не мог побороть своего волнения и исподтишка наблюдал за

ним. Я давно знал его, как крепкого хозяина и организатора, который сросся с нашим заводом и отдавал ему всего себя без остатка. Часто он был крут и сурово требователен. Но это был простой, доступный и ясный человек. Он любил веселую шутку, остроумный разговор, и нередко его тонкая насмешка подтягивала людей крепче, чем прямой выговор. Но когда он узнавал, что такой-то рабочий или такой-то инженер испытывает нужду или вышел из строя по болезни, он первый устремлялся к нему на помощь. Был такой случай в нашем цехе: заболел один старый рабочий, и его отправили в больницу. На другой же день Буераков заехал к нему с фуфайкой и валенками подмышкой, посидел немного у его койки, пошутил, ободрил старика и, прощаясь, спросил, в чем он нуждается. Больной ответил:

— Капустки бы мне сейчас, Павел Павлыч... кисленькой... Кажется, поел бы капустки и сразу бы выздоровел...

И Павел Павлович в этот же день сам завез ему в больницу банку квашеной капусты. А достать эту капусту в те дни было очень трудно.

Попыхивая трубочкой и озираясь, он простецки говорил, как бы желая обрадовать меня:

— Вы, вероятно, и не предполагали, Николай Прокофьевич, как далеко стреляете. Наш сосед здорово забеспокоился. Звонят и с других заводов. А мы, не теряя времени, оснастим вашим приспособлением и другие станки. Поруководить вам с Польшцевым придется. Сразу же начнете с своего участка. Но зато режет нас соседний цех. Новаторством не увлечены. И дисциплинка плохая. Нужно произвести там небольшой переворот. Будем просить вас возглавить бригаду — навести там порядок, создать хорошую трудовую атмосферу.

Он, очевидно, нарочно оттягивал время. Его деликатность трогала меня. Я поставил перед ним стакан крепкого чаю и сам со своим стаканом сел против него. Мы обменялись улыбками, и я увидел в его прищуренных глазах что-то вроде предостережения и сожаления. Он налил чай в блюдечко, положил кусочек сахару в рот и с удовольствием стал отхлебывать чай, сдувая густой пар (в комнате было холодно).

— Наши ленинградцы в этом цеху не проявляют никакой инициативы. А начальник цеха, хотя и знающий инженер, назначен был нами впопыхах. Но молодежь очень

нетерпеливая и горячая. С ней можно работать—и хорошо работать, нужно только ее организовать, поощрить и включить в соревнование.

Я не выдержал роли гостеприимного хозяина и перебил Буеракова:

— Павел Павлыч, я догадываюсь, в чем дело. Вы навестили меня не для того, чтобы поделиться своими деловыми соображениями. Приехали вы, конечно, не спроста: вы хотите что-то сообщить мне...

Он опорожнил блюдце, поставил на него недопитый стакан и пристально поглядел на меня проверяющим взглядом. Потом сунул трубку в рот и стал раскуривать ее, следя глазами за вспыхивающим огнем спички.

— Видите ли, Николай Прокофьевич... Мы все сейчас в бою. И сила наша в том, что мы, большевики, никогда не сгибались ни под какими ударами. Мы — выносливые люди. Я знаю, что вы — сильный человек... немножко импульсивный только... но стойкий и упрямый. Поэтому я и не думал скрывать от вас правды. Вы, конечно, узнали бы ее не сегодня, так завтра. Но это не меняет дела...

Я нетерпеливо остановил его рукой.

— Предисловие — излишне, Павел Павлыч. Вы меня знаете не первый год. Скажите прямо: что-нибудь случилось с Лизой? С ребенком?

Он опять испытующе посмотрел на меня и засопел трубкой.

— Нет, с ними все благополучно.

— Но что же тогда?

— Ну, вот... заметался человек...

Я взял себя в руки и стал завертывать папиросу.

— Почему заметался, Павел Павлыч? Вполне понятное нетерпение. Теперь возможны всякие удары... И я готов ко всяким неожиданностям...

— Вот это — самое главное, Николай Прокофьевич. У Польшинцева вон какое большое горе, однако он попрежнему работает превосходно. Вот у меня погиб брат, моряк-балтиец, сестра расстреляна с ребятишками в Пушкине... Но, друг мой, это не может выбить нас из строя. Наоборот, это еще более ожесточает в борьбе.

— Значит, что-то произошло с Игнатом, Павел Павлыч?

— Да. — Он помолчал, как бы подбирая слова. — Упал в расположении врага с горящим самолетом.

Я встал и схватился за край стола. Очевидно, я сильно побледнел, потому что Павел Павлыч тоже встал с испуганным лицом и шагнул в мою сторону.

— Не беспокойтесь, Павел Павлыч...

Лицо у него прояснилось.

— Знаете, Николай Прокофьевич, по-моему, рано еще хоронить Игната. Упасть вместе с самолетом — это еще не значит погибнуть. Бывало, что летчики возвращались, переходили линию фронта...

Он залпом выпил остатки чая и выбил пепел из трубки в пепельницу. Я хотел взять пустой его стакан, чтобы налить еще, но он положил на него ладонь.

— Не будем утешать себя надеждами, Павел Павлыч. Если бы Игнат и благополучно приземлился, все равно немцы сграбастали бы его моментально. Они — не такие рохли. У меня только одна уверенность, что Игнат живым в руки не дастся.

— В этом я не сомневаюсь, Николай Прокофьевич. Но подождем, увидим! В вашей семье все — удачливые, как любил похвалиться ваш старик.

И Буераков тепло засмеялся.

— Скажите, Павел Павлыч, когда Игнат получил звание Героя Советского Союза? После гибели или раньше?

— На этих днях. А из строя вышел он уже месяца полтора назад. Указ напечатан в газетах. Сегодня—завтра прочтем...

Он положил мне руку на плечо и опять проверил меня с ласковой строгостью.

— Я очень хорошо понимаю... и чувствую, каково у вас на душе, Николай Прокофьевич. Но так же отлично знаю, что вы не дрогнете... что бы ни случилось...

Меня душили слезы, но я старался держаться спокойно.

— Ах, как я отплатил бы этой немецкой сволочи, если бы был там!.. — выдохнул я, сжимая кулаки, и у меня затряслись губы.

— Мы и так здорово им платим... — сказал он, пряча свою трубку в карман. — Мы скоро так их будем крушить, что всю их технику и всю их орду превратим в прах... Одним словом, мы в тылу тоже воюем не плохо. Вы знаете, что наш ленинградский завод — в разных местах, и теперь эти части превратились в самостоятельные мощные заводы, как наш. Это что-нибудь да значит.

Он взглянул на часы и заторопился.

— Надо ехать. Одевайтесь!

— А мне-то куда?

— Я соберу начальников цехов и технологов, и мы по-толкуем по некоторым практическим вопросам.

Я автоматически подчинился ему, но совсем не понял, о чем идет речь. Голос директора казался мне и оглушительным, и очень далеким. Отрезвил меня морозный воздух. Снег горел ослепительно, а небо как будто было покрыто инеем. Вместо того чтобы войти с ним в машину, я вежливо и решительно сказал ему, что предпочитаю пойти пешком.

— Ну, как хотите... Впрочем, я сам прошелся бы с удовольствием... но нельзя... — Он засмеялся. — Нельзя: ждут.

Машина быстро сорвалась с места и подняла за собою снежную пыль.

Я перешел мостовую и пошагал по бульвару, среди пушисто-белых деревьев.

...Игнаши больше нет, и я его никогда уже не увижу. Может быть, он сгорел вместе с самолетом, а может быть, схвачен немцами и умер от страшных пыток. Наивны надежды на его спасение... Война еще раз тяжело ранила меня, и рана эта не заживет никогда. Душевные раны — неисцелимы. Игнаша был как будто второй моей половиной.

Очередь за Лизой, за Лавриком, за моими стариками!.. Ленинград сжат лавиной немецких армий. Тысячи орудий и пулеметов бьют в его предместья, тяжелые снаряды разрушают вековые здания. Люди в домах и на улицах падают, пораженные осколками... Бежит Лиза, истощенная голодом и холодом, с работы или на работу. Со свистом летит снаряд и разрывается где-то недалеко... Взмахнув руками, она падает навзничь...

Я вздрагиваю и со стоном сжимаю кулаки. Туда, туда мне нужно, а не корпеть здесь, в цехе, за тысячи верст, в безопасности!.. Туда, где под бомбами и снарядами бежит по улице или стоит за станком моя Лиза, где мой Лаврик по-детски бесстрашно катает саночки на дворе, а к нему с ревом несется снаряд тяжелого орудия... Я должен быть там, чтобы защитить их, иначе родные, бесконечно близкие мне существа будут вырваны у меня, как вырван Игнаша... Я должен защищать их во что бы то ни стало или погибнуть вместе с ними... В Ленинград, немедленно в Ленинград!..

Партийный комитет занимал несколько комнат в первом этаже заводууправления. В коридоре толкались какие-то люди, кто-то здоровался со мною, и я, не зная, кто это, отвечал на приветствия. Техничка Оля, краснощекая девушка с раскосмаченными волосами, как обычно с радостью протянула мне руку. Я попросил ее предупредить Седова, что пришел к нему для личного разговора и прошу его обязательно принять меня.

— А он сам сказал, что, ежели вы придете, сейчас же зашли бы к нему. Вот выйдет от него человек, и проходите.

Она быстро встала, схватила пачку каких-то бумаг и убежала из комнаты.

Значит, Седов тоже знает о гибели Игнаши, если ждет меня... Он знал, конечно, и вчера, но тоже щадил меня, как и директор. Тем лучше, легче будет разговаривать... Он ждал меня — знал, что я приду к нему и открою перед ним свою душу. Как старый мой товарищ и друг, он не может не понять меня...

Я остановился перед картой европейской части Союза. Вот он, красный кружок Ленинграда! В замкнутом кольце! И в этом кольце погиб Игнаша. А я — здесь, в дебрях Уральского хребта, куда не прорвется ни один вражеский самолет, куда письма Лизы идут три недели. Здесь я делаю оружие и самолеты, которые уничтожают немцев. Да, делаю... но сам ими не пользуюсь и силы своих ударов не вижу, не ощущаю... Не вижу, как разрываются моими снарядами грязные тела убийц, как горят их танки...

Из кабинета вышел высокий краснолицый человек в черной коже, а за ним в дверях показался, провожая его, Седов. Он приветственно махнул мне рукой и, как мне показалось, поглядел на меня с тревожным вниманием.

— Заходи, заходи, Николай!

Он взял меня под руку, и мы вошли в его комнату. Я сел в кресло, а он — на свое место за столом.

Мы помолчали некоторое время. Он посмотрел на меня в ожидании, потом повернулся ко мне боком и застыл в задумчивости. Впервые я увидел по его опухшим векам и по глубокой складке на лбу, что он очень утомился. Его цыганская голова — смуглое лицо, энергичный нос, черные горячие глаза, густые и кудрявые волосы — очень мне нра-

вилась: в ней была большая сила, крепкая воля и убежденность. Темносиняя суконная рубаша с широким отложным воротником делала его привлекательно-простым и близким. Я знал его еще комсомольцем, мы вместе учились на рабфаке, вместе занимались спортом, вместе ездили на охоту. Правда, он потом поступил в институт машиностроения, и мы несколько лет не виделись, но он опять пришел к нам на завод — вторым секретарем парткома. Тогда он был проще, задушевнее, и втроем — Петя, он и я — мы часто сходились у меня на квартире и проводили вечера в горячих разговорах. Лиза была тогда еще студенткой и мечтала стать астрофизиком. Не раз она таскала нас с собою в Пулково, и мы смотрели там в телескоп на луну, на Сатурн, на Марс. Мы перезнакомились со всеми астрономами — и знаменитыми стариками, и молодыми учеными, «зверски талантливыми парнями», как о них говорила Лиза. Она с блеском в глазах развивала нам увлекательные гипотезы о происхождении солнечной системы, о туманностях, о большой вселенной... Петя впадал в уморительный экстаз и декламировал, протягивая к ней руки:

Пред нами тайны обнажатся,
Возблещут дальние миры...

Это были чудесные дни нашей молодости. А теперь Седов уже не встречается с нами в интимном кругу. Впрочем, и нам с Петей не часто приходится быть вместе в домашней обстановке: некогда. Мне кажется, что Алеша Седов несет в себе какую-то огромную тяжесть. Когда он спит? В цехах можно встретить его и днем и ночью. За день он успевает провести работу и в парткоме, и в цехах, и побывать в городе — в обкоме, в горкоме, — и обойти весь завод.

Он опять повернулся ко мне и опять посмотрел на меня в ожидании.

— Погиб Игнат, Алексей Михайлыч...

Он тихо и как бы сам себе ответил:

— Я знаю... знаю и глубоко тебе сочувствую, Николай. Я очень любил Игната.

Сильно волнуясь, я вскочил с кресла и прошелся по комнате.

— Я — боевой солдат, Алексей, — загорячился я. — Я как танкист дрался с белофиннами и дрался не плохо. Ты

это хорошо знаешь. Я обязан заступить место Игната. Остаться в цеху когда враг душит Ленинград, когда он топчет нашу страну, я не могу... не в силах... не имею права... Я еду на фронт, Алексей...

Седов слушал спокойно и терпеливо, и я видел, что, если бы я говорил целый час, он не выразил бы никакого желания перебить меня. Руки мои дрожали, когда я закурил папиросу.

— Ты кончил? — спросил он, взглянув на меня исподлобья.

— Кончил.

— Видишь ли, в чем дело, Николай... — И он откинулся на спинку стула. — Ты — прав. Я это очень хорошо понимаю и чувствую. Ты садись, не волнуйся. Давай поговорим спскойно.

Он вынул из стола коробку папирос и, не глядя на меня, зажег спичку. Закурил он только тогда, когда спичка уже догорала.

— Видишь ли, в чем дело... Я думаю, что нас послали сюда не для отдыха и не для того, чтобы сохранить наши жизни. Отправляясь в глубокий тыл, мы передвигались на передовые позиции. И ты воюешь здесь не хуже... любого летчика или танкиста.

— Это — не то, Алексей. У меня душа горит, а ты рассуждаешь... слишком умозрительно...

Он продолжал, не слушая меня:

— Правительство знало, кого надо было призвать на фронт и кого послать подпирать и вооружать армию. И уход с трудовых позиций, с передовой линии обороны предприятий, хотя бы в самый ураганный огонь на полях сражений,—это такое же дезертирство, как и бегство из окопов. На поле боя ты послал бы врагу один снаряд, и грохот орудия дал бы тебе удовлетворение, как мстителю. Я понимаю это. Но, кроме этого непосредственного переживания, у нас, большевиков, должно быть еще сознание, что поражение врага обеспечивается оружием и техникой. Твои семнадцать важнейших деталей вместо одной увеличивают выпуск оружия во много раз. Что же выгоднее для фронта? Неужели ты под влиянием душевного потрясения утратил силу этого сознания?

Он умолк и пристально посмотрел на меня. В его глазах появилась грустная теплота и недоумение. Несомнен-

но, я огорчил его: он не ожидал от меня такого безрассудного мятежа. Он заворошил свои курчавые волосы и усмехнулся:

— Не хитри передо мною, мой друг. Я знаю, почему ты бунтуешь. Там — Лиза, там — сынишка. Гибнет Игнат. Немцы бомбят и обстреливают город. Страх потерять близких людей! Вот откуда буря в душе. Так?

— И так, и не так.

— Это именно так, а не иначе, Николай. Я не обвиняю тебя и не упрекаю ни в чем. Повторяю, что психологически — это вполне естественно и законно. Даже неизбежно. Но это — только порыв, импульс. А мы — государственные люди.

Лицо мое горело. Я слабел под пронизательным взглядом Седова. Но он тоже волновался. Этого волнения никто бы не мог заметить у него, кроме меня: за долгие годы дружбы я привык чувствовать его душевное состояние по неуловимым для других признакам. Он встал, взял другую папиросу и закурил от первой.

— Помнишь, ты как-то говорил, Николай, что в нашем рабочем классе за годы пятилеток образовалась плотная прослойка культурных рабочих. Это — передовики, люди с широким кругозором. Многие из них, не отрываясь от производства, получили высшее образование. Одним словом, это — настоящая и н т е л л и г е н ц и я. В дни войны они показали себя в промышленности, как сила решающая. Кто теперь создает новую технологию? Они — с инженерами. Откуда пошло движение тысячников? От них. Станки посредством различных приспособлений делаются универсальными, превращаются в полуавтоматы, и на них без всякого труда могут работать даже неквалифицированные рабочие и подростки. Время уплотнилось в сотни раз. Это было бы чудом лет десять назад. Но теперь — это закономерное движение. Надеюсь, что ты и сам относишь себя к передовому слою этой интеллигенции.

Он опять замолчал и смотрел на меня, ожидая ответа. Я тоже встал, и мы улыбнулись друг другу. Он подошел ко мне и протянул мне руки. Я схватил их и горячо пожал.

— Так что же, Николай? Значит, продолжаем попрежнему сражаться на наших позициях?

— Да, будем работать, Алеша, — драться, не щадя сил.

Он засмеялся, укоризненно покрутил головой и пошутил:

— Ну, и горячка же ты чортова, Колька!.. Необузданный, как раньше...

Он прошел со мною до самой двери и сказал растроганно:

— Когда будешь писать Лизе, передай мой дружеский привет. И не забудь изобразить ей и этот наш драматический эпизод.

А о жене своей он не сказал ни слова.

VII

Немцев гонят и в хвост и в гриву, громят их танки, истребляют отборные дивизии. Тысячи орудий и машин, тысячи трупов усеивают снежные поля к югу и к западу от Москвы. Толпы пленных вереницами плетутся по дорогам в тыл наших войск. А наши бойцы, наши танки рвутся вперед, охватывают клещами отступающих фашистов, дают и истребляют их на своем пути. «Наступление продолжается...» Чудесные, полные весеннего ликования слова! Если бы я писал стихи, я создал бы гимн нашей армии, но я — рядовой, неопытный в литературе человек и в своих записях выражаю свои мысли и чувства, как умею.

Я плохо сплю, но чувствую себя свежо и легко, как юноша. Все время, даже в дремоте, я чувствую порывы сделать что-то большое, ошеломляющее. Хочется сейчас же послать вдогонку разбойникам какую-нибудь невиданную торпеду, которая, как метеор, прорезала бы небо огненным хвостом.

В цехах идут митинги. Все дают обязательства — увеличить выработку оружия в два, в три раза. Лица у всех взволнованные, решительные, глаза горят. Я тоже выступил и сказал только несколько слов:

— Друзья! Красная Армия громит немцев. Я обещаю в ближайшее время применить новое приспособление для изготовления одной важнейшей и трудной детали, увеличив выпуск ее во много раз. Значит, и боевых машин двинем на фронт в несколько раз больше.

Я верил в себя и был убежден, что это, пока несуществующее, приспособление уже близко к осуществлению. В тот миг я знал одно: то, что я обещал, будет сделано.

У меня было острое предчувствие новой борьбы и новых побед.

Трое молодых рабочих с улыбкой поглядывали на меня и переговаривались между собою так, чтобы я слышал:

— Ну, раз Шаронов обещал, значит, сделает...

— Чего там обещал... У него уже все сделано. Ему приспособить только... Слова у него — не шелуха: у него что ни слово — то ядрышко.

— О какой он детали говорил, интересно?

Один из них, Зиновий Чертаков, коротконогий и большеголовый парень, хороший фрезеровщик, подмигнул мне и уверенно сказал:

— Да тут и голову ломать нечего: одна нас деталь заедает... Самое узенькое наше место... Все жилы из меня вытянула, окаянная...

И он назвал деталь, обработка которой съедает массу дорогого времени. Чертаков давно уже жаловался на свои неудачи: он пробовал ввести кое-какие усовершенствования и добился двойной выработки, но это не удовлетворяло его. Действительно, эта деталь была очень трудоемка по конфигурации. Я думал о ней и раньше, но она не проходила через мои руки.

Я сделал вид, что ничего не слышал из их разговора, и задумчиво крутил папиросу. Но я так взволновался, что у меня дрожали руки, и я никак не мог сладить с бумажкой, которая рвалась в пальцах. Бывают дни, когда вдруг ощущаешь, что перед тобою — нечто вроде пустоты, потому что работаешь уже без задержки, автоматически. Душу охватывает беспокойство, и твое создание, которым ты раньше жил и отдавал ему все помыслы, стареет, становится обыденным. Оно уже — не твое, отпочковалось от тебя, и ты опять остался на голом месте. И опять начинаются муки поисков, тоска по новой, еще более напряженной борьбе. Такое томление я переживал и сейчас.

Я работал на двух станках — работал механически, без одушевления: своим приспособлением я оснастил еще один станок — станок моей подручной Шуры, молодой девушки с темнорусыми волосами до плеч. Ей было только семнадцать лет, а по развитой фигуре она казалась двадцатилетней. Но лицо ее было наивное, как у подростка, и всегда изумленное. Она была очень переимчива: ей не надо было повторять наставлений — она все воспринимала с первого раза и никогда не ошибалась. Моим приспособле-

нием она стала пользоваться сразу без всякой робости. И я понял, что она незаметно для меня наблюдала и изучала его в часы моей работы.

В ее отношениях ко мне были кой-какие странности. Когда я встречался с ней взглядами, она или краснела и прятала лицо, или пристально смотрела на меня умоляющими глазами. В эти секунды глаза ее широко раскрывались и блестели.

Как-то я спросил ее:

— Что с вами, Шура? Мне кажется, что вы хотите что-то сказать мне, но не решается.

— Нет, ничего, Николай Прокофьевич... — торопливо и робко ответила она. — Если бы что нужно было, я спросила бы...

Со мной она никогда не разговаривала, но я часто ловил на себе ее пристальный, задумчивый взгляд. Она смущалась и сердито отворачивалась. Но с другими рабочими она говорила бойко, словоохотливо, и ее смех звенел задорно и весело. Я решил, что она за что-то обижается на меня, но на мой вопрос она ответила с изумлением:

— Я... обижаюсь? На вас? Это было бы глупо, Николай Прокофьевич...

А то вдруг ни с того, ни с сего подойдет ко мне и застынет в нерешительном порыве сказать что-то важное, что мучает ее давно.

— Ну, говорите, Шура. — скажешь ей ласково и даже шагнешь ей навстречу, но она точно просыпалась и молча уходила обратно.

Потом эти странные выходки стали раздражать меня, и я приходил к мысли, что она — нервно больна. Как-то я справился об этом у одной ее подруги — Тамары Звековой, маленькой, по-деловому серьезной блондинки (обе они по окончании семилетки в первые же дни войны стали донорами, а потом вместе же пошли ученицами на завод). Тамара с удивлением посмотрела на меня и отрицательно покачала головой.

— Нервы у нее здоровее, чем у нас с вами.

— Чем же объяснить эти странности?

Она усмехнулась и загадочно сквозь зубы ответила:

— Как мало вы знаете нас, девушек!..

Однажды я почувствовал, что Шура стоит около меня, за спиной. Я обернулся и встретил робкую улыбку.

— Николай Прокофьевич, посмотрите, так ли я сделала...

— Ну, ну, покажите, что вы сделали.

— Ко мне пойдете... Я там кое-что изменила по-своему...

Она показала мне кой-какие изменения в моем приспособлении — изменения мелкие, незначительные, — но это было усовершенствование, которое еще больше сокращало время обработки деталей. Я похвалил ее. Она закрылась ладонями и засмеялась.

— В конце смены у вас будет аншлаг, Шура. Поздравляю!

Она с ужасом в глазах запротестовала:

— Но это же не я, а вы...

— Как это — я? Разве это не ваша работа?

— Но, Николай Прокофьевич, важно не то, что по мелочи делается потом, а то, что сделано впервые. Это — не от меня, а от вас... Лучше вас никого нет в цехе...

— А ну-ка, Шура, — проворчал я, — больше мне не говорите таких вещей!

— Но ведь это же — правда, Николай Прокофьевич. Это все знают... О вас все так говорят...

— Это вы так говорите, а не все. Я, как и другие, не прыгаю выше головы. Я не изобретаю, не выдумываю нового, а использую старое в других комбинациях.

К моему удивлению, она смело и решительно крикнула:

— Нет, Николай Прокофьевич, не то... все у нас обыкновенные и понятные, а вы — необыкновенный.

— Какие глупости, Шура! Необыкновенный, непонятный... Это — смешно....

— Да, да!

Я отошел от нее.

Этот странный разговор произошел дня три спустя после известия о гибели Игнаши, и я чувствовал себя тягостно. А вечером пришли ко мне мои друзья.

Ядро нашего цеха — ленинградцы. Нас — человек полтора. Это — в большинстве мои ровесники. Все они вместе со мною пришли на завод. Мы по-родственному близки друг другу. Но самые горячие мои друзья — трое.

Вот Вася — высокий поджарый парень, с серебристыми глазами, которые пристально смотрят на людей с веселым ожиданием. Соревнуется он со мной играючи, весело и ликует не только от своих побед, но и от моих нововведений.

Вот Митя — маленький, застенчивый, молчаливый человек. С виду он кажется мрачным пессимистом, но это —

добряк, с душою нежной и мечтательной. Он чудесно играет на гитаре и готов с ней проводить все часы отдыха.

А вот Яков — белобрысый, без бровей, с виду увалень, всегда как будто всем и всеми недовольный, у станка работает с злым удовольствием, постоянно разговаривает с вещами и инструментами, как с живыми существами.

Вечерами, через каждую неделю, они обычно собираются у меня, и мы идем или во Дворец культуры — в кино, в читальню, на концерт — или прогуляться по бульвару. На этот раз Вася влетел ко мне один.

— Какая оказия, понимаешь, — еще от двери заговорил он. — Встречаю у проходной нашего главинжа, рву перед ним кепку, а он молча берет ее у меня своей длинной рукой и стоит, как колокольня. Я растерялся, не знаю, как держать себя. А он тихонечко говорит: «Я подержу вашу кепочку: она у вас, вероятно, попрыгунья — на голове не держится». — «Что вы, — говорю, — Владимир Евгеньевич! Я стащил ее, чтобы приветствовать вас». — «Но ведь она прыгает у вас с головы сегодня уже не первый раз. И я уж не пойму, — говорит, — не то она боится меня, не то резвится от моего вида». — «Это, — говорю, — происходит от живости моего характера, Владимир Евгеньевич». — «Ну, говорит, — теперь я буду знать, что и кепка есть зеркало души».

Вася с веселым ожиданием посмотрел на меня и сам же первый засмеялся. Я улыбнулся с натугой, чтобы не обидеть его. Он с недоумением покачал головой.

— Не вышло, гм...

— Ты не в ударе, Вася, — хмуро сказал я: — твой анекдот не удался.

— Ну, что же... Тогда угощай чаем. А может, и покрепче есть навар?..

Лампочка у меня в двадцать пять свечей, электричество горит до шести, потом перерыв до одиннадцати — часы пик. Вася норовит приходиться часов в пять, зная, что за час до выключения света мы можем вскипятить чайник.

Он живет в одной комнате с Митей и Яковом — в квартире какого-то местного профессора. Называют они его Кошечем за его худобу, сутулость и неуживчивость.

Говорить мне не хотелось, и приходу Васи я не обрадовался.

Вася подошел ко мне и положил руку на мое плечо.

— Ничего, ничего, Коля! Нам нельзя впадать в уны-

ние. Разве мало всюду личных потерь? Меня иногда тоже хватает за сердце, а я не желаю поддаваться. Чорта с два! Чем и как я могу освободить свою семью из Пскова? Только вот этими руками... и вот этим огнем...

И он стукнул ладонью по своей груди.

— А разве я чем-нибудь выразил свою слабость, Вася? Кажется, силы у меня достаточно, чтобы распоряжаться собою.

— Знаю, знаю, Коля. Дай бог всякому переносить так твердо свое горе, как переносишь ты. Но передо мной-то тебе таиться нечего. Можно молчать или говорить о чем угодно, а сердца не спрячешь.

Чайник закипел, позвякивая крышкой. Я вынул штепсель, заварил чай, включил плиточку и поставил на нее заваренный чай. Вася, как бы вспомнив о чем-то, торопливо вышел из комнаты, но сейчас же возвратился и подмигнул мне издали. С блуждающей улыбкой, ступая на носки, он торжественно поставил на стол бутылочку водки.

— Вот-с, Коля! Против всяких ожогов и сердечной лоты весьма помогает.

Он взял с этажерочки на стене два лиловых стаканчика, кусок хлеба и несколько картофелин.

— Замечательно! — восхитился он. — Какая догадливая женщина Аграфена Захаровна!

С хрустом раздавил он сургуч о край стола и ударил донышком бутылки о ладонь. Пробка отлетела куда-то в угол.

— Эх, Коля! Вспомним наши мальчишники в Ленинграде... За молодость, Коленька... за вечную, как говорится, юность!..

Мы чокнулись и опрокинули стаканчики в рот. Закусили. Вася наполнил стаканчики вторично.

— А теперь пьем за твою Лизу... за хорошую женщину, которую ты, Николай-чудотворец, должен немедленно вызвать сюда. Завтра же посылай молнию!

Я проглотил свою водку, с грохотом отодвинул стул и схватил Васю за плечо. Он спокойно усмехнулся и удовлетворенно закивал головой.

— Сядь на свое место, Коля! Я и так хорошо чувствую твою душу, мой друг. Лучше выпьем за жар души...

Я уже приятно захмелел, и тоска растаяла в сердце. У Васи блестели глаза и горели щеки. Словоохотливый, он сейчас говорил с особым возбуждением.

— Бунтуешь ты, мой дорогой... Чорт с тобой, бунтуй, гори, пылай... только не гложи самого себя... Талант этого не любит... понимаешь?.. Ты думаешь, не известно, как ты штурмовал Седова? Известно. Я хорошо понимаю тебя, но не давай повода к кривотолкам, потому что каждый твой шаг на виду. Ты должен быть — во! Стальная колонна!.. Молнируй Лизе!..

Позвонили. Я вышел в прихожую, но Аграфена Захаровна уже впускала Якова и Митю. Они, как обычно, разделись скромно и застенчиво, а потом уже за руку поздоровались с Аграфеной Захаровной.

— Василий-то здесь? — почему-то шопотом спросил меня Яков и ладонью старательно пригладил волосы. — Он, окаянный, улизнул, а тут наш Кошей закуралесил...

Митя молчал, как будто то, что сказал Яков, совсем его не касалось. В дрызгах с квартирным хозяином он держался совершенно невозмутимо, как глухой, а когда тот наскაკивал на него, он участливо предлагал:

— Может быть, вам нужно холодной водицы?..

Началась у них эта перепалка с первого же дня вселения их в комнату. Профессор никак не мог примириться с тем, что у него отняли кабинет и стеснили его в трех комнатах. Но он уже совсем стал невменяем, когда райисполком отнял у него еще одну комнату, куда вселился инженер одного из эвакуированных предприятий с женой и маленькой девочкой. Профессору было лет пятьдесят, но он недавно женился на студентке своего института, кокетливой девице, которая все время напевала песенки и жизнерадостно стучала каблучками по комнатам. На кухне жила домработница, крупная женщина, очень горластая, но добрая сердцем. Она, не стесняясь, покрикивала и на своего хозяина:

— Будет вам, Сергей Сергееч... Как это можно в вашем звании!.. Не по своей же воле сюда приехали... Война: потерпеть маленько надо...

— Ты молчи! — орал он на нее. — Не твое дело... У тебя здесь нет никакого голоса...

— Я правду люблю, — огрызалась она, — а правда везде голос имеет. И прямо говорю: нехорошо.

Ребята прошли в комнату, а я — в кухню, к Аграфене Захаровне. Она хлопотала у плиты.

— Где же Тихон-то Васильич? Совсем ему не нужно пропадать на заводе не в свое время.

— А вы бы вот доказали ему, Николай Прокофьич: я для него — не указ. Вот жду: на огне все держу. А чую, не придет сегодня, однако.

— Ну, раз его нет, пойдёте вы к нам, погостуйте у нас немного.

Но она легонько толкнула меня к двери.

Ребята сидели плечом к плечу и пили чай. Бутылка была уже пуста. Митя безучастно молчал, а Яков рассказывал что-то и посмеивался.

— Слушай-ка, Коля, — крикнул мне Вася, — вот тебе свежий анекдот. Недавно наш Кошей заявил нам и соседям, чтобы мы не смели больше пользоваться его ванной. Колонки своей он жечь не позволит. Сказал и сделал. Позвал слесаря, вывинтил смеситель и забил втулку в дыру. С тем, как говорится, до свиданья: мойтесь на здоровье!

Митя задумчиво пил чай. Он улыбнулся, отвечая на свои мысли, и только заметил равнодушно:

— Тактика у него разработана вполне научно, — не возражишь.

Вася лукаво подмигнул мне, засмеялся, крутнув головой.

А Яков с веселой злостью подхватил:

— Тактика уж на что научнее! Начал он нам электричество гасить: ткнет перышком в штепсель — чик! — и тьма. А сам от аккумулятора лампочку себе зажигает. Тут уж я не выдержал, когда он каждый день стал этот номер зажаривать. Подхожу к двери и дипломатически говорю: «По моим, — говорю, — расчетам, профессор, вы расплавили в штепселе девять перышков: они у меня хранятся, я их коллекционирую, чтобы отправить прокурору». Не житье, а комическая опера. Мы ему устроили пантомиму под занавес. Сняли железные трубы с колонки и унесли к себе в комнату. Финал: сам профессор остался без горячей ванны.

— Вы — веселые ребята, — неодобрительно отозвался я. — Но это — озорство.

Вася делал какие-то знаки и Якову и Мите и посмеивался, а Митя взял пустую бутылку, обследовал ее и грустно закачал головой. В ответ на мои слова Яков вошел в раж:

— А как прикажешь поступить с культурным хулиганом? Война, видишь ли, потревожила его — лишила удобств и покоя. Пришлось потесниться — дать уголок людям, приехавшим сюда не за сладким житьем. Мерзавец хотел мать с ребенком поморозить в очередях у бани, а мы нашли

смеситель, и под нашей охраной они вымылись. Я не знаю, за какую ты добродетель, Коля, а мы — за такое озорство. Конечно, выкупались и мы. А после этого вывинтили свой смеситель и опять сняли трубы.

— Какой талант воспитателя пропадает! — скорбно воскликнул Вася и схватился за голову. — Наркомпрос, где ты?

Митя закрыл глаза и запел, покачиваясь из стороны в сторону:

И кто его знает,
Чего он моргает...

Ему с охотой, многозначительно улыбаясь, завторил Вася, но потом сразу же оборвал себя и с восхищением крикнул:

— Ты, Яша, мудрец. Правильно! Мы даем наглядный урок культуры.

— Эх, как ты мелодично выражаешься, Вася! — поразился Митя и звонко щелкнул по бутылке. — А водочку-то все-таки успели с дядей Колей вылакать... Вот это — наглядный урок...

Все засмеялись. А Митя скромно вынул из кармана брюк такую же бутылку, выбил пробку и налил себе в стаканчик. В этот момент потухло электричество. Все испуганно ахнули. Я зажег спичку и засветил моргасик.

— Кто же это опростал мой стаканчик-то? — с негодованием и обидой спросил Митя.

Яков с застенчивой улыбкой нежно успокоил его:

— Высохло, Митя, — улетучилось... Чему ты удивляешься? Спирт — это дух. В словаре справлялся.

— Ты и во тьме видишь, где этот дух витает... — с угрозой отозвался Митя и налил себе половину чайного стакана.

Опять посмеялись.

А я был очень растроган: эти ребята, мои сердечные друзья, и пришли-то ко мне сейчас для того, чтобы развлечь меня — отвести от мрачных мыслей. Может быть, они даже раньше меня пронюхали о катастрофе с Игнатом и оберегали меня до поры до времени. Они и теперь ни словом не обмолвились о моем несчастье, как будто никакой беды и не случилось. Мне было смешно смотреть на их неуклюжие и старательные потуги вовлечь меня в круг своих бытовых приключений и поднять мое настроение

дружеской рюмкой водки. А достать эти две бутылки стоило им, вероятно, немалых трудов.

Мы выпили еще по стаканчику, а Митя незаметно принес из прихожей гитару и тихо запел:

Из страны, страны далекой,
От Невы родной, широкой,
Ради славного труда-а...
Ради доблести высокой
Собралися мы сюда-а...

Мы пели долго, одну песню за другой — пели задушевно, тихо, взволнованно, обнявшись друг с другом.

VIII

В девять часов я пошел проводить их. Издалека, с площади, волнами плыла к нам песня. Пел какой-то большой хороший хор. Передача из Москвы. Зареву над заводом вздрагивало от ярких вспышек, а низкие облака трепетали тусклыми молниями. Откуда-то доносился смутный и глухой гул. Вася с Яковом шли позади и весело спорили о преимуществах летающих суппортов.

— Ты лучше расскажи, Яша, какие тебе секреты открывают инструменты, когда ты с ними разговариваешь.

— Это у меня руки разговаривают, а слова только в ясность приводят. Это — как песня, знаешь... Прокричаться надо, всего себя настроить. Без разговора со станком у меня дело не клеится.

Разливисто пронеслась хоровая песня. Мы с Митей посмотрели на туманное сияние зарева, прислушиваясь и провозжая улетающий напев.

— Эх, друзья мои!.. — крикнул я, не сдерживая своих чувств. — Пройдут года, десятилетия... Может быть, мы будем уже в могиле, а может быть — дряхлыми стариками... Жизнь после этих кровавых лет расцветет невиданной красотой. И новые люди, наши дети и внуки, будут вспоминать о нас, как о героях. Они не будут знать о наших житейских мелочах, об эгоизме, о низких страстишках. Но наши страдания и радости, победы и поражения, успехи и неудачи они возвеличат. Про нас тогда будут говорить: это были богатыри, они боролись за свободу и счастье и несли свет миру. Нам будут подражать и учиться стойкости и упорству в борьбе...

— Во веки веков, аминь!.. — проникновенно закончил Вася.

И все засмеялись. На душе у всех было хорошо — легко и радостно.

По дороге мы зашли на почту, и я послал молнию Лизе. А когда проходили мимо Дворца культуры, Вася решительно направился к парадной двери, ярко освещенной двумя сильными фонарями. На широкой площадке толпилась молодежь. Дверь поминутно открывалась, и наружу вырывался густой пар и кудрявым облачком улетал вверх. Когда дверь распахивалась, слышались приглушенные звуки музыки.

— На полчасака, ребята!.. — крикнул Вася, требовательно приглашая нас рукой.

— Мне в десять в оркестре выступать: значит, не на полчасака, — грустно заявил Митя, — а в час — на завод. Впрочем, музыка для меня лучше сна: настраиваюсь, как струна.

Мы вошли в огромный вестибюль, залитый светом. Он был пустой, только у прилавков раздевальни стояло несколько человек. Музыка в репродукторе, усиленная эхом, ревела оглушительно. Очевидно, публика танцевала в фойе второго этажа. Вася и Митя сбросили с себя пальто и медленно пошли к лестнице, причесываясь на ходу и оглядываясь на нас с Яковом. Митя не расставался с своей гитарой. Яков хмуро пробормотал, когда мы присоединились к ним:

— Вот еще плясуны!.. Охота же дрыгать ногами... Не пойти ли нам, Коля, на бильярде сразиться?

— Яша! — вознегодовал Вася. — Коллектива не разлагать! Мы с тобой еще русского разделаем...

На стенах вестибюля висело несколько старых афиш, и на одной из них я увидел свою фамилию. Недавно я потряхнул стариной: прочел лекцию о самоотверженности русской женщины. Готовился я с удовольствием: здесь же, в библиотеке, перечитывал классиков, делал выписки и здесь же начерно писал и тезисы. Хотя эта лекция прошла как будто удачно, но дальнейших попыток я не предпринимал: это удовольствие тяжело отразилось на моем отдыхе.

По широкой лестнице мы поднялись на второй этаж. Огромный зал фойе кипел народом. Танцевала большая толпа парней и девушек, молча, старательно, с серьезны-

ми лицами. Пары двигались по кругу, ритмично шаркая подошвами и притопывая каблуками. В репродукторе ревел духовой оркестр. Девчата, завитые, принаряженные, припудренные, кружились вместе с парнями, переплетались руками, делали какие-то сложные фигуры, расходились, опять сходились, менялись местами.

Мимо в паре с сухощавым командиром-танкистом прошла Шура. За ней другая пара: Тамара Звезова с летчиком, коренастым, краснолицым парнем, который говорил ей что-то в ухо и смеялся, но она смотрела вперед, строго сдвинув брови. Шура увидела меня и густо покраснела. Через несколько минут она вместе с Тамарой подошла к нам и растерянно поздоровалась со всеми. Тамара требовательно протянула руки к Васе и приказала:

— Продолжаем дальше!

Вася весело подхватил ее, и они утонули в толпе танцующих. Шура осталась со мною и смущенно молчала.

— Почему же вы бросили танцевать, Шура?

Она взволнованно теребила платочек.

— А я увидела вас, и мне стало совестно.

— Почему же совестно?

— Мне почудилось даже, что вы прикрикнули на меня: люди на фронте... кровь льется... а ты танцуешь...

— Пляшут и на передовых позициях, Шура. Что же тут дурного?

— Мне нравится танцевать, Николай Прокофьевич... А вот танцуешь, и все время сердце ноет... Все как будто забывают о войне... Все как будто заняты своими интересами...

— А как же иначе, Шура? Люди не унывают: и трудятся, и веселятся... Зачем же мучать себя мрачными мыслями? Танцуйте себе на здоровье!

Музыка замолкла, и круг танцующих начал рассыпаться. Все заговорили, засмеялись и стали разбредаться по залу. Но Вася выбежал на середину фойе и, подняв руки, крикнул:

— Товарищи, русскую!..

Многие громко подхватили его крик и ринулись к нему. Все знали Васю, как виртуоза русской пляски.

— Пошире, ребята! Раздайся! Приготовьтесь, друзья: вызываю на соревнование.

Толпа шумела, смеялась, пятилась назад, но задние напирала на передних. Девчата взвизгивали, парни притвор-

но стонали. Кто-то уже нетерпеливо отбивал каблуками рассыпчатую дробь.

Тамара подхватила под руку Шуру и почему-то сердито посмотрела на меня.

— Пошли, Щурка! Без тебя дело не обойдется. Вам, товарищ Шаронов, придется или с ней или со мной показать свое искусство.

— Не пляшу, девочки, а погляжу с удовольствием.

Шура робко и вопросительно взглянула на меня, как будто оправдываясь: уж, извините, мол, и не осуждайте, а поплясать мне очень хочется...

Баяны заиграли знакомые русские переборы. Митя толкнул меня в плечо и показал гитарой на толпу.

— А ну-ка, Коля, проберемся к Васе...

— Легко сказать... Не протолкаешься...

— Пошли! Слово знаю.

— А где Яков?

— Как где? Орудует с Васей. Когда же это русская без Яши обходилась?

Митя уверенно пошагал впереди меня и, перебирая пальцами струны гитары, повелительно крикнул:

— Дорогу мастерам самодеятельности!

И действительно, толпа расступилась перед нами, и Митя прошел уверенно, продолжая перебирать пальцами струны гитары. Его, очевидно, хорошо знала молодежь: он часто выступал на вечерах самодеятельного искусства. Ему даже похлопали и крикнули: «браво».

В середине круг был небольшой, и я сразу почувствовал духоту и тепло сдавленных тел. Всюду блстели глаза в нетерпеливом ожидании. Вася стоял в центре круга и манил кого-то и улыбкой, и глазами, и движениями в такт музыке, и постукиваниями каблуков. Вдруг он вздрогнул, ударил ладонями по коленкам и сделал отчетливую дробь каблуками и подошвами.

— Ну, выходи, девушки!

Но никто из девушек не вышел, хотя видно было, что каждой хотелось выскользнуть в круг и так же отчаянно ударить каблуками. Неожиданно Вася схватил за руку Шуру и рванул ее к себе.

— Раздайся, товарищи! Еще пошире! Свободу русскому размаху!

Шура стояла покорная, смущенная, с опущенными руками, готовая делать все, что потребует Вася. Он заложил

руки за спину и, отбивая такт, обошел вокруг нее, подзадоривая ее смехом в глазах. Потом хлопнул в ладоши, ударил себя по груди, по бедрам, наклонился, попятился и стал руками манить Шуру. Она вдруг стала серьезной, озабоченной, сложила руки высоко на груди и поплыла назад, отбивая ногой каждый свой шаг. Потом выхватила платок, взмахнула им над головой и стала крутиться вихрем, наступая на Васю, сердито отгоняя его платочком. Я с удовольствием смотрел на нее и удивлялся: откуда у нее, такой молоденькой, этакая заразительная игра, гордая стать, страстные порывы? Вася старался наступать на нее, изворачивался, пытался схватить ее своими ловкими руками, пугал ее дробным топотом, прыжками вверх и присядкой, а она, уверенная, сильная, почти суровая, ускользала от него и, закинув голову, смотрела на него широко открытыми, блестящими глазами, — звала, отталкивала, горячила его. Чорт возьми, эта буря здоровой силы и удали заражала меня: у меня дрожало тело, тряслись все поджилки, как говорится, и я невольно перебирал ногами, улыбался, подбадривал криками, сам готов был броситься в круг и очертя голову завертеться и лихо заработать ногами. И я видел, что вся эта толпа испытывала то же самое, что и я: у всех горели глаза, шевелились и руки и ноги, каждый покрикивал, тяжело дыша, и ничего не чувствовал, кроме этой захватывающей пляски.

Тамара не выдержала, вскрикнула, подхватила Митю с его гитарой и, закрыв глаза, пошла легкой поступью, точно поплыла по воздуху. Митя, подняв гитару над головой, начал отбивать каблуками замысловатый узор. Вышли еще две пары. Круг сам собою раздался, толпа отхлынула, и началась массовая пляска.

IX

Однажды вечером пришел ко мне на квартиру Петя с низкорослым, коренастым молодым инженером. Лицо его, широкое, скуластое, с мутными глазами, было неподвижно, как маска.

— Вот познакомься, Николай Прокофьич: Евграф Семенович Брякин. Это — технолог того цеха, куда направляют твою бригаду на прорыв. Он желает с тобой побеседовать.

Брякин молча сел на стул, который он отставил от стола на середину комнаты, и стал осматриваться отчужденно и равнодушно.

Он углубился в завертывание папиросы, и я видел, что не я, а он ждет от меня деловых вопросов. Петя делал вид, что не намерен вмешиваться в нашу беседу: перебирал книжки на моем письменном столике, перелистывал страницы, пробегал глазами по строчкам и нетерпеливо бросал взгляды на нас обоих.

— Может быть, чаем вас угостить, товарищи? — предложил я, обращаясь больше к Брякину, чем к Пете.

— Я не имею свободного времени, — сказал Брякин, уткнув глаза в папиросу: — Через полчаса я должен быть на совещании.

— Тогда я — к вашим услугам.

Петя встал, подхватил чайник с подоконника и вышел из комнаты. В кухне у него сейчас же завязалась беседа с Аграфеной Захаровной, как видно, более интересная, чем у нас с Брякиным.

Брякин сначала зажег спичку, прикурил, потом поглядел на нее, опять поднес к папиросе, брезгливо усмехнулся и, когда спичка вся сгорела, бросил ее под ноги.

— Мне предложено всячески содействовать вам в моем цеху и создать все условия для работы вашей бригады.

— Но я думаю, что это — ваша обязанность, товарищ Брякин. Без благоприятных условий работать нельзя.

— Какие же это условия? — спросил он с недоброй усмешкой, не глядя на меня.

— Да разве вы первый день в цеху, Евграф Семеныч? Ну, прежде всего обеспечить быстрее выполнение всяких требований бригады, заставить работать оперативно подсобные мастерские... Не мне вам об этом говорить. Я могу советоваться с вами, просить вашего содействия в решении технологических вопросов, но в мои действия без особой нужды никто не имеет права вмешиваться — ни вы, ни начальник цеха, ни даже главинж.

— Вот как?

— Да. Привычка, знаете.

— А если эта привычка противоречит цеховому распорядку? Если она бьет по трудовой дисциплине?

— Я думаю, наоборот. У нас в цеху, как вы знаете, — образцовый распорядок, трудовая дисциплина превосходна, да и с Петром Ивановичем мы живем в тесной дружбе. В

моих рационализаторских делах — большая доля его участия.

Брякин сделал ехидную гримасу.

— Однако Петр Иванович Полинцев — в стороне, а вас прославляют на весь Союз. Любопытная странность: рабочий, будь он семи пядей во лбу, без технолога и конструктора не в состоянии шагу шагнуть. Но рабочий — это герой, а технолог — только гужевая лошадь.

— Петр Иванович в полной мере пользуется своим правом консультанта. Он предпочитает светить своим собственным, а не отраженным светом. Карьеризм и кастовость ему чужды.

— При чем же тут карьеризм и кастовость? — возразил Брякин, утопая в дыму. — Я говорю о надлежащем месте в цеху и рабочего и инженера. Я целиком отвечаю за всю технологию, за всякие ее изменения в процессе работы и за все предложения и проекты. Технологию принадлежит последнее слово.

Я предупредительно спросил его:

— То есть, иначе говоря, вы претендуете поставить свою марку на не принадлежащих вам технических нововведениях? Но кто же вам мешает быть автором новых усовершенствований?

Он сгорбился и глухо засмеялся.

— Центральная фигура и решающая сила производства.

Я уже ненавидел его, как озлобленного завистника и самовлюбленного неудачника. Но я вежливо задал ему несколько вопросов о положении в его цехе. Он отвечал с натугой, поглядывая на папиросу и угрюмо усмехаясь.

— Вот придете — сами увидите. Рассказывать не буду, а жаловаться — не в моем характере.

Он мрачно осмотрел мой рабочий столик и показал желтые зубы.

— Книжки... бумаги... Значит, есть время для упражнений ума...

— А вы разве не читаете?

— В часы отдыха предпочитаю игру в шахматы или в преферанс. Когда-то прочитал рассказы Чехова, а потом что-то Зоценко. Да и то в доме отдыха.

— Как же можно, Евграф Семеныч! Есть множество вопросов, на которые хочется получить мудрые ответы.

— Я обязан быть исполнителем, а не критиком.

Я засмеялся.

— Вы — цельный человек, Евграф Семеныч.

Он встал и приятельски хлопнул меня по плечу.

— Водки нет?

— Водки нет.

— Хе! Вот и выходи тут с вами за пределы узкой специальности. Вы вот ко мне загляните. Патефон. Пластинки — убийственные. Жена насчет этого у меня — чувствительная. Она равнодушна к Руслановой, а я — больше к Цфасману.

— По-вашему, выходит, что и джаз тоже не подлежит критике?

— А как же?

Он поворошил свои волосы, потом ощупал все карманы и пробормотал:

— Ну-с, я пошел. Пейте свой чай с Полынцевым и философствуйте... У него тоже... ум за разум заходит...

Он на ходу сдавил мне пальцы, толкнул дверь и скрылся за нею.

Я не провожал его. В прихожей он промычал что-то на вопрос Пети и глухо засмеялся.

Петя вошел с заваренным чаем и кипятком.

— Что это ты, Коля, с моим коллегой сделал? — с иронической строгостью спросил он. — Чем ты окрылил его?

— Наоборот, он должен был уйти от меня злым и обиженным. Зачем ты все-таки притащил ко мне этого монстра?

— Как зачем? Он очень хотел с тобой познакомиться. Работать-то тебе с ним придется?

— Слушай, да он же — глубочайший невежда!

— Почему — невежда? В своей области он очень опытный и знающий инженер. Он на высоком счету.

Я не принимал участия в хозяйственных хлопотах Пети и продолжал сидеть, опираясь спиной на край стола.

— Ведь он же ограниченный педант, Петька. У него одно убеждение: всё — дано, всё — решено, не суйся!

Петя и тут ошарашил меня неожиданным заключением:

— Не прав ты, Николай, и в этом случае. Он влюблен в технологию и хватается за всякие усовершенствования. Но, как жадный хозяин, он все хочет пропустить через свои руки, всякую мелочь изучить лично. Поработаешь с ним — увидишь. А теперь давай чай пить.

— Нет, это же — фрукт! Нас с тобой он считает людьми, у которых ум за разум заходит. Все, что за пределами его специальности, для него не существует. Литературы не знает и не желает знать, искусство для него — это джаз и фокстрот.

Петя поглядел на меня с удивлением.

— Чего ты кипятишься? Ведь у многих наших специалистов кругозор очень ограничен. Читают мало, да и то — легкую, развлекательную литературу. Большая нагрузка. Единственная отдушина — шумный вечерок с патефоном.

— Но ведь ты-то не такой?

— И меня готовили к узкой специальности. Учебный план почти не давал нам времени для самостоятельного чтения. А ведь широкое образование достигается именно таким путем. Во втузе такая же перегрузка. Кто не имел страсти к чтению и был не любознателен, тот оставался в пределах учебных дисциплин. Я читал и развивался трудно, и страсть моя производила опустошение в моем учебном хозяйстве: зачеты проходили у меня не совсем благополучно. Но я считаю, что правительство правильно поступило: нам нужно было готовить быстро и много специалистов — специалистов узких, но крепко подкованных. А разве наши рабочие высокой квалификации не проходили такой же школы? Без математики, без знания механики, физики, машиноведения, без заочных курсов разве можно представить сейчас передового рабочего? Только эти рабочие и способны создавать новую технологию и производить перевороты в методах труда.

Он налил себе в блюдечко горячего чаю и с наслаждением стал глотать его, сдувая радужный пар. Так выпил он два блюдечка, не говоря ни слова. Он очень любил пить чай вместе со мною: сам готовил его и обязательно приносил с собою или печенье, или белую булочку из столовой.

Он обследовал мой рабочий столик и, усмехаясь, подмигнул мне понимающе:

— А что это у тебя там за груда бумаги? Не диссертацию ли пишешь?

Я смутился и хмуро ответил:

— Исповедь пишу.

— Что-о? Какую исповедь? Милый друг, ты — неисправимый поэт.

Лицо его стало ласковым и грустно-мечтательным. С ним

бывало это только у меня, да и то редко. Обычно эта минута ласкового света в его глазах наступала тогда, когда мы говорили о литературе, о любимых писателях, о милых сердцу героях и переходили к личным переживаниям и воспоминаниям юности.

— А знаешь, Коля, я завидую тебе. Мне кажется, что у человека с поэтической душой бывают мгновения, когда открываются ему такие радости, которые для меня, например, совершенно неведомы. Есть в поэзии какой-то незримый свет, который нельзя передать словами. А этот свет озаряет жизнь и личность поэта особой красотой. Может быть, это излучение внутреннего света — какой-то своеобразный инстинкт. Вот ты пишешь исповедь, какую-то поэму своей души, а я не пишу и не буду писать: у меня нет такого инстинкта. Но как бы мне хотелось испытать это внутреннее озарение!

— Но ведь мы оба — поэты в душе, Петя. Ты напрасно приписываешь мне инстинкт художника. Это — исповедь... Ну, если хочешь, отчет в своих действиях и своих связях с людьми — отчет перед совестью о том, как оправдал я себя в эти великие дни борьбы.

Он положил руку на мое плечо и с горячим порывом крикнул:

— Прежние мы, Коля, пламенные, романтические головы — прежние, но иные... Мы стали умнее, мы накопили опыт стариков. Мы сохранили на всю жизнь святое недовольство, — помнишь, у Некрасова?

То недовольство, при котором нет
Ни самообольщенья, ни застоя,
С которым и на склоне наших лет
Постыдно мы не убежим из строя...

Петя умел трогать сердце. Такие минуты были редки в нашей жизни, полной труда и напряжения, но эти минуты были незабываемы. Хорошо было сидеть вдвоем в моей маленькой комнатке в тишине, за стаканом чая и чувствовать душевную близость друг друга!

С детских лет мы были связаны братской любовью, и связь эта не только не нарушилась нашей женитьбой, но стала богаче и крепче. У нас были одинаковые мысли, одинаковые вкусы, но характеры были разные. Он относился к людям снисходительно, с беззлобной насмешечкой и был убежден, что их слабости, грубость, дурные привычки от того, что они не ведают, что творят. А я не выносил ни

грубости, ни ругани, ни пьянства, ни бесчестного отношения к труду, ни лжи, ни обмана, ни бездушия и бесился. неистовствовал, озлоблялся и приходил в ярость. И, когда он видел меня в таком состоянии, он и ко мне относился мягко и снисходительно, с иронической искоркой в глазах. Я за это злился на него, но он добродушно шутил:

— Благородный рыцарь! Ты нетерпелив, а посему и несправедлив.

В этот вечер он был настроен беспокойно.

— Да, без романтики, Коля, наша жизнь невысказана. То, что любишь, чем живешь, о чем мечтаешь, — то поет в душе, как поэма. А мечтать можно только о новом, и борьба самоотверженная возможна только за новое. Но есть и другая борьба... страшная, но бесплодная... борьба с собой... борьба с призраками...

Морщина страдания прорезала его лоб, брови его приподнялись над переносьем.

— Вероятно, я все-таки сильный человек, если до сих пор не сошел еще с ума...

— Петя!..

Мне хотелось сказать ему какие-то большие и яркие слова, чтобы в глазах его заиграла радость, но слов таких у меня не было.

— Петя! Ты знаешь, как ты мне дорог... Ты знаешь также, что никто так больно не переживает твоих страданий, как я... Но, родной мой, ты не смеешь и не имеешь права подвергать себя пытке. Ты — борец прежде всего и этого не забывай никогда.

— Знаю... все знаю... — Он поморщился. — Затем ты мне это говоришь?..

— А может быть, я и себе это говорю...

Я закурил папиросу и заходил по комнате. А Петя налил себе горячего чаю и стал отпивать его частыми глотками.

— Брата Игнаши нет — погиб, — говорил я, волнуясь, — и я холодею от мысли, что он мог погибнуть страшной смертью. Вот и Лиза... Она — правдивый человек, но всей правды не пишет. Смерть может сразить ее каждую минуту. Снаряд, бомба, мороз и голод — все, что угодно. У Павла Павлыча погиб брат и расстреляна сестра с детьми. Надо крепко сцепить зубы — пусть они все раскрошатся, чорт возьми, но мы, не шатаясь, будем делать свое дело — бороться, не щадя сил. И еще не надо нам забывать, Петя,

что не кто иной, а мы с тобой обязаны будем строить новую жизнь.

Он отодвинул от себя пустой стакан и закрыл глаза.

— Видеть человека... любимого, родного... лишенным ума... это ужасно... Я прихожу к ней, зову ее, целую, а она смотрит на меня и не видит... Какое-то страшное равнодушие... ко всему... И все время шопотом говорит: «Верочка здесь... Они прячут ее от меня... Почему они меня не пускают?..» Можно все перенести, только не это, Коля... И я часто срываюсь и бегу в заводууправление... На фронт! в самое пекло!.. Но перед дверью директора силы оставляют меня... Я обсуждаю деловые вопросы, шучу, выступаю на совещаниях, работаю в цеху, и никто не видит, что делается у меня в душе... никто!..

— Я знаю, что делается у тебя в душе, Петя, — горячо возразил я. — Но я знаю также, что ты не способен на малодушие. И еще хорошо знаю, Петя, что Наташа будет здорова.

— Что? Откуда у тебя такая уверенность?.. — с изумлением рванулся он ко мне. От волнения он даже встал и дрожащими руками заворочил волосы, и я увидел, что он страстно хотел мне верить, что он сам лелеял эту мечту.

— Да, Петя, Наташа будет здорова. Это пройдет. Скоро она опять будет с тобою... Я говорил с врачами...

Я лгал: я не говорил с врачами. Я лгал и не испытывал угрызения совести от этого обмана. Он молча пожал мне руку и глубоко вздохнул.

— Я... тоже говорил с врачами... Они тоже ободряли меня... Я думал, что они обманывают... Но теперь я... я верю, Коля, верю... Тебе я почему-то больше верю, чем всем врачам...

Я пошел проводить его. Мы шли под руку, и нам было хорошо чувствовать свою близость в этом снежном полумраке. Небо было черное, в россыпи звезд. Мороз пощипывал щеки и уши, и под ногами вкусно поскрипывал сухой снег. Над заводом дрожало мутное зарево.

Когда я возвращался домой по бульвару, меня схватила за плечо чья-то цепкая рука. Я испуганно обернулся и увидел перед собою высокого человека в военной шинели и в шапке-ушанке. Лицо у него было сухое и длинное. Освещенное заревом, оно показалось мне пьяным. Да и горбатый нос, тонкий и острый, как-то нахально нацеливался на меня.

— Вы — фрезеровщик Шаронов, — обличил он меня хриплым баритоном, и мне послышалась в нем издевательская насмешка. — Знатный фрезеровщик, который дает до двадцати норм и угрожает давать еще больше.

Я отступил назад и хотел обойти его, но он засмеялся и загородил мне дорогу.

— Вы — Шаронов. Ведь я не ошибся? Свидетельствую мое почтение!

Он кривлялся и жеманничал. Ясно было, что он задирает меня.

— Что вам угодно? — с негодованием крикнул я. — Проходите своей дорогой!

— Нет, зачем же? Я видел вас только издали, а сейчас хочу вплотную рассмотреть ваше лицо. Я хочу его запомнить.

— Оставьте меня в покое! Проходите!

— Ну, во-от! — опять засмеялся он, и его смех похож был на икоту. — Человек хочет выразить всероссийской знаменитости свое восхищение, а эта знаменитость брыкается.

— Кто вы такой? — запальчиво крикнул я. — И какое вам дело до Шаронова?

— Кто я такой — это вам не интересно знать. А что касается моего любопытства, — я просто питаю слабость к людям, овеванным славой.

Он говорил с шутовским подмигиванием и ехидной усмешкой. Губы его извивались судорожно и ядовито. Он смеялся, но лицо его было нахально-злое. Что-то в нем чувствовалось чужое, враждебное. Я решил испытать его.

— Хорошо. Я тоже хочу узнать, с кем я имею дело. Пойдемте со мною — проверим ваши документы.

Он заикал, манерно приложил руку к шапке и жеманно протянул:

— О, нет! Я не люблю официальных приемов. Честь имею... До скорого свидания!..

И, bravo повернувшись, пошел от меня к площади широкими шагами.

Х

В отстающий цех я пришел утром на следующий день. В нем работали главным образом местные рабочие. Ленинградцев было человек десять. Преобладала молодежь. Ле-

нинградцы встретили меня приветливо, как родного. Это были люди седовласые, темнолицые, с усталыми глазами. Все они долгие годы работали вместе с моим стариком. Они обступили меня тесной группой и, пожимая мою руку, смотрели на меня с улыбкой в глазах.

— Ну, как, Шаронов?.. Что пишет Прокофий Ильич?.. Как он прыгает?.. Эх, лихой был старик!..

— А тебя — с успехом, Шаронов!.. Высоко держишь честь ленинградцев...

— Ну, а нам тут гордиться нечем... Через пень-колоду... Гляди, грязища какая...

Я укоризненно покачал головой и недовольно проворчал:

— А вы-то, ленинградцы, чего глядели?

Они хмуро смотрели в сторону. Один из них, с широким костистым лицом, исполосованным крупными морщинами, с прилипшими к вискам мокрыми волосами, зло поглядел на товарищей, отмахнулся от них и хрипло крикнул:

— Досмерги не люблю этой фальшивости, товарищи... Не стесняясь, говорю... Мы с вами пока звезд с неба не хватали, — в меру честно и добросовестно работали, а Шаронов свою технологию создает и выгоняет по двадцать норм. Правильно говорит Шаронов... Что мы с вами сделали? Ничего, кооме шептанья по углам да насмешечек...

— А ты-то, Хоботьев, не насмешничал, скажешь? — ехидно поддел его кто-то.

— И я насмешничал, прямо говорю... Вместо того чтобы самим подняться на дыбы и в бой ринуться, мы ждали... ждали!.. (он ядовито передразнил кого-то). Ждали, чтобы к нам с поклоном пришли: снизойдите, мол, ленинградцы, — вызволяйте машину из болота!..

— Да брось, Хоботьев!.. Зачем зря канитель разводь... Так ли это было-то?..

— А как же? — зло посмеиваясь и мигая, спросил Хоботьев. — Расскажите, как было иначе... Нечего, товарищи, замазывать... Ежели бы иначе было, Шаронова не прислали бы... Давайте-ка лучше прекратим этот разговор... И верно: повыше бы засучить рукава...

И Хоботьев с негодованием пошел на свое место. Рабочие смущенно по одному расходились к своим станкам.

Я пошагал вдоль цеха, чтобы ознакомиться с общим состоянием этой огромной «коробки». С первого же взгляда я понял, что в цехе — нехорошо. Даже в мутном и сыром

воздухе было что-то гнетущее. Под ногами валялись кучи сора — стружек, болванок, обрезков металла, и к валенкам прилипала густая слякоть. Почему-то парни и девчата расхаживали по проходам, некоторые станки стояли пустые. Из-за токарного станка на меня с испуганным удовольствием смотрел белобрысый парень и, улыбаясь, манил веселыми глазами. Этим хороших юношей я привык узнавать сразу: в их облике, в глазах, в движениях дышит любовь к своей работе, любопытство к ней и неугасимый интерес к тому, что он делает. Станок у него был опрятный, стол чистый, пол подметен...

— Ну, как работается? — спросил я, улыбаясь ему дружелюбно.

— Да как сказать, товарищ Шаронов... У вас — рекорды, а у нас — грязные морды.

— Ну, уж и морды... К чему это?.. По вас я этого, например, не вижу... Давайте познакомимся.

— Баранов — моя фамилия. Незабывчивая. Работаю два года, а кажется, что только со вчера у станка: норму не выполняю.

— Почему? Станок у вас в порядке, да и вы как будто работаете хорошо.

— Станок-то в порядке, только порядки — не в порядке. Вот сейчас закончу вчерашнее задание и пойду за заделом и за резцами. Проболтаюсь минут сорок, а то и больше. Вот вам и отсеки хвост норме. А потом, товарищ Шаронов, сами посудите, как тут работать, ежели инициатива взлетит? Я работаю вот на этой штучке...

Он остановил станок, вынул блестящий червяк, покрутил его в руках и подал мне. Работа была превосходная и очень сложная. Такую работу на токарном станке можно было производить очень осторожно и очень медленно. Нужно было, не отрываясь ни на минуту, следить за резцом и управлять станком чутко и четко. Эта красивая вещица похожа на игрушку, а без нее машина не двинется с места. Выяснилось, что Баранов обрабатывает за смену две-три штуки, а по норме нужно было изготавливать не меньше пяти. Что толку в моих тысячных нормах, когда эта игрушка торчит передо мною непреодолимым барьером? Мои детали лежат кучами перед этим ничтожным червяком: он убивает их и превращает в мертвую грудку металла. Я стоял перед Барановым и молчал. А Баранов все улыбался,

смотрел на меня с надеждой, и я видел, что он верил в мою силу.

— У нас никто еще порядком не освоил эту штуковину. Без ножа режет, проклятая.. Не поверите, глаз не смыкаю... душа изболелась...

Ребят из моей бригады я не видел нигде: вероятно, они ждали меня в конторке. Я прошел в другую часть цеха и вдруг заметил Якова, который стоял за станком, рядом с румяной и щекастой девушкой, и что-то показывал ей. Около него стояли трое парней и внимательно следили за его руками. Он раза два повернул какой-то рычаг, и девушка вскрикнула изумленно:

— Как здорово! А мы-то возились да пыхтели...

Парни оживленно переговаривались и смеялись.

Яков увидел меня и поманил рукой.

— Чем это ты, Яша, молодежь-то удивляешь?

— Да вот... — с брезгливой гримасой ответил он, кивая на станок: — Стержни обкатывают... Разве при наших темпах допустимо обдирать их? Тут другое надо: вставить болт и повернуть раз-другой... Чего проще!.. У нас в цеху давно уж применяют...

Он вышел из-за станка и подошел ко мне, не обращая внимания на ребят.

— Да вы хоть скажите, как вас зовут-то! — весело крикнула девушка. — Я ваш портрет здесь вывешу на витрине.

Он сдвинул кепку на затылок и помахал рукой.

— Сам, дорогая, буду здесь своей персоной. Можете каждый день любоваться на мою личность... Привет и любовь!

Все засмеялись.

— Базар, а не цех... — сердито заругался Яков. — Видал, какая бестолочь, Николай Прокофьевич? Заделов нет — за заделами сами путешествуют, инструментов нет — тащат у соседей или бегут на склад. А там — как на трамвайной остановке...

— А где же наши ребята, Яша?

— Наверху, у начальника цеха. Совещание какое-то хочет провести. Все начальство там. Пойдем туда, что ли?

— Нет, Яша, я здесь останусь, а ты пройди туда и заяви, что сейчас надо к работе приступать. Покажите там свой характер с Васей.

Он решительно и сердито направился к средним дверям. Везде было одно и то же: грязь, хлам, толкучка, про-

стой станков. Как странно! Наш цех был рядом, через дорогу, там бурлила горячая молодость, прибоем била мятежная мысль, шла напряженная борьба, а здесь — тишина задворков, захоlustье. Рядом идет бой, решительное наступление, дерутся другие цехи, плечом к плечу идут вместе с нами и тысячи рабочих старого завода, где Тихон Васильевич борется, как старый ветеран, за первое место на передовой линии. О нем уже говорят в области, как о новаторе-сталеваре, и он не уступит первенства в борьбе. Начиналось движение тысячников: из единиц образуются отряды. Они сбиваются в фронтовые бригады и устраивают какие-то трудовые кроссы. Почему же здесь такое сонное царство?

Я повернул назад и пошел между станками. Ко мне начали сбегаться парнишки и девчата. Они окружили меня со всех сторон и с любопытством смотрели на меня, как на диковинного человека. Я остановился и с улыбкой оглядел их.

— Что же это вы, ребята? Зачем бросили свои станки? Где же у вас дисциплина-то? Увидели нового человека и сразу бросились к нему, как к фокуснику или танцору... Разве так работают?

Я говорил строго, но не мог побороть улыбки: очень уж заразительно играла в них веселая жизнь.

— Товарищ Шаронов, вы у нас будете? — настойчиво спрашивала меня кудлатая девочка, хватая меня за руку, а ее вопрос покрывали сразу несколько голосов:

— Вы нас, товарищ Шаронов, учить будете? Да? Вот это будет здорово!..

— Ну, идите, ребята, по своим местам. Я приду к вам, и вы мне покажете, как вы работаете.

Они заволновались, и каждому из них хотелось стать ближе ко мне. Мне казалось, что я слышу, как у них бьются сердца.

— Вы обязательно приходите, товарищ Шаронов... Не забудьте, я — Маслякина Люба. Мы будем ждать вас, каждый день...

— Я — Оля Буравина... Мы непременно организуем фронтовую бригаду...

Я заметил, что торопливо иду обратно, и понял, что иду к Баранову. И в этот же миг я услышал звяканье металла, рокот моторов и крики рабочих. В своем цехе я обычно не замечал этого металлического говора машин, их запаха

и особой дрожи воздуха, свойственной заводу. Привычка к обстановке делает нас глухими к движению и шуму: многолюдная жизнь цеха и прибойный гул машин становятся родной средой. С ней сливаешься органически и не ощущаешь ее, как не ощущаешь воздуха, которым дышишь. А здесь, в этом цехе, было что-то нездоровое.

Наперерез мне, по боковому проходу, толпой шли руководители цеха и ребята из нашей бригады. Впереди шагал Брякин с застывшим лицом и злыми глазами.

— Гордый вы какой! — пожимая мне руку, равнодушно сказал он. — Мы его ждем у начальника цеха, а он здесь разгуливает.

Я вежливо и холодно возразил:

— Без знакомства с цехом не считаю возможным дискутировать.

Полный человек с мясистым лицом, с испуганными глазами, в короткой шубейке и заячьей ушанке пожал мне руку. Он оторопело озирался, точно боялся итти дальше, и мне почудилось, что он сейчас же юркнет в толпу и улизнет. Он был здешний работник, но я давно знал его. На совещаниях у директора и на заводских конференциях его постоянно «продирали с песком» и грозили снять с работы, если он не выправит цеха. А он всегда отвечал с захватским простодушием:

— Что я могу сказать, товарищи? Плохо работаем. Верно. Оправдываться не буду. Примем все зависящие меры.

Но, очевидно, «всех зависящих мер» не принимал, и цех оставался в прорыве. У него и имя было какое-то неблагополучное: Небытов Никодим Фомич.

— Ну, что ж, — сказал он с одышкой, — глаз у вас наметанный: увидеть не трудно... Оправдываться не будем... Ругайте, ругайте...

Он показался мне забавным, и я засмеялся.

— Зачем же раньше времени ругать-то, Никодим Фомич? Ругать бесполезно, работать надо. Разрешите нам разделить по участкам и приступить к делу.

Он весь затрепетал от радости, раскинул руки и взвизнул:

— Пож-жалуйста, голубчик!.. Ради бога!.. Действуйте в свое удовольствие!.. Ежели какие-нибудь там требования или распоряжения, вот вам — товарищ Брякин, вот вам — старший мастер... вот вам... ну, да вы сами знакомьтесь со всеми...

Брякин молчал и смотрел в даль цеха. Старший мастер, насуспенный старик, с седыми клочками бровей, с давно не бритой щетиной на лице, стоял безучастно.

Никодим Фомич засуетился, как будто вспомнил о каком-то неотложном деле:

— Ну, действуйте, товарищи... А меня освободите: дела, дела!..

И он торопливо зашагал обратно.

Брякин искоса проводил его озлобленными глазами и показал крупные зубы.

— Видали такого симпатичного дядю? — спросил он с угрюмым равнодушием. — Бегемот на заячьих ногах.

— А что ж, дядя действительно симпатичный... Большой добряк... предоставляет свободу действий...

Брякин засмеялся беззвучно, встряхивая плечами, точно я сказал какую-то уморительную нелепость.

— Я согласился бы работать с телеграфным столбом, только не с этим симпатичным дядей. Он с энтузиазмом соглашается во всем и со всеми, но, как сом в омуте, — близко, а не поймаешь. Говорят, что он знающий инженер, с огромным опытом. Загадочная картинка: где в Небытове Небитов? Нигде! Ни одного места нет небитого. А ничего — сидит и в ус не дует. Да на его месте, если бы я увидел вашу бригаду, я подход бы от стыда.

«Ну, ты тоже не так уж симпатичен и остроумен», — подумал я.

Старший мастер безучастно и угрюмо смотрел в сторону и молчал. Вероятно, он думал то же самое, что и я. Но он не возбуждал во мне никакого интереса.

Яша вздохнул завистливо и пояснил:

— Вольное житьишко, ничего не скажешь... Существование задумчивое...

Все засмеялись, не смеялся только сам Яша да старший мастер.

Мы разделили цех на несколько участков и разошлись по местам. Вместе с Брякиным и мастером я прошел в склад. По дороге нам попадались токари и фрезеровщики, которые тащили заделы. Среди них встретился и Баранов. Он улыбнулся мне во весь рот и крикнул:

— Вот, товарищ Шаронов, — любуйтесь на рысаков в гужевом транспорте! Норму буду выполнять завтра. Работаем по методу тысячи одной ночи...

Я строго обратился к мастеру:

— Надо немедленно поставить подсобных рабочих.

Старик угрюмо ответил с глухой хрипотцой:

— Не полагается. Кто будет в ответе?

Брякин ткнул меня в бок и злобно сказал:

— Вот сейчас в складе и сделаем распоряжение.

А мастер упрямо повторил:

— Не полагается. Без Никодима Фомича не пройдет.

В складе была толчея. Рабочие, мешая друг другу, искали нужные им инструменты, рылись на полках, в ящиках и ругались самыми забористыми словами. Заведующий, в шубе, в лохматой шапке, надвинутой на глаза, сидел за столиком и сосал кручонку, не обращая ни на кого внимания. На нас он даже не взглянул.

Брякин подошел к нему и строго спросил:

— Почему у вас до сих пор такой кавардак? Ведь приказано все инструменты рассортировать и выдавать комплектом по письменному требованию.

Заведующий сонно оглядел его, нахлобучил шапку еще глубже и ничего не ответил. Угрюмый мастер устало сел к столику и протянул руку к колобке с табаком. Заведующий неторопливо взял ее и спрятал в карман.

Я успокоил Брякина:

— После обеденного перерыва мы придем сюда всей бригадой и всё приведем в порядок.

Брякин злобно запротестовал:

— Это — позор и безобразие! Что же о нас будут говорить на заводе, если уборкой в складе займется бригада из другого цеха? Терпеть я этого не хочу: я буду просить перевода.

Заведующий поднял на меня мутные глаза, снял шапку, пригладил облезлую голову и крикнул. Вдруг глаза его прояснились, вспыхнули изумлением, хитренько заиграли, и он с неожиданной живостью вскочил со стула.

— Товарищ Шаронов! Ведь вот не думали, не гадали... Нет худа без добра... Чую, и нам пришел черед перестраиваться... Извините, не сплетня, не наговоры, но в порядке самокритики: хозяев много, а житье убого. Даю слово, товарищ Шаронов, завтра склад будет работать, как аптека. Не беспокойтесь и себя не утруждайте: ваше дело оперативное. А вы, Евграф Семеныч, не волнуйтесь. Ежели все будем так волноваться, в головешки обратимся.

Некоторые рабочие повернулись к нам и стали прислушиваться. Лицо у Брякина стало серым.

— Вот полюбуйтесь, Николай Прокофьевич, на этих симпатичных дядей... — У него затряслись плечи от его странно-молчаливого хохота. — Хозяев много, а житье убого... Каково!.. Да вы — гнилушки, а не головешки.

Мастер попрежнему был угрюм и безучастен.

— Совершенно с вами согласен, Евграф Семеныч! — с радостной готовностью согласился заведующий. — Разве ж я не за движение воды? Тысячу раз за...

Мне он понравился, и я — не знаю, почему — поверил в его обещание. Прощаясь с ним, я подбодрил его:

— Раз вы захотели, значит — сделаете.

XI

В первые дни пришлось заняться организационной работой: заставить людей немедленно привести в образцовый порядок рабочие места, держать инструменты под рукой, помогать настраивать станки. Цеховому мастеру стало, очевидно, совестно или он освежился от того порыва ветра, который мы принесли с собою: он оживился, летал по цеху, как молодой. Моя бригада встревожила всех, заразила бодростью и весельем.

Когда я ломал голову над тем, как бы переключить деталь Баранова на фрезерование, меня вдруг поразила внезапная мысль. Неподалеку от Баранова стоял небольшой фрезерный станок, который был, вероятно, забыт всеми. Я подошел к нему и в волнении стал обследовать его со всех сторон. Понял я одно: этот станочек можно сделать своеобразным сложным приспособлением... Деталь Баранова подчиняла себе и станок и человека: для того, чтобы выточить ряд винтовых нарезов, нужно было все силы направить на одну какую-то микроскопическую точку в данную секунду, нужно было стальной цилиндр непрерывно направлять по намеченной линии. Говоря техническим языком, нужно было линию с большим углом наклона резать с такой же осторожностью, с таким же напряжением внимания, каких требует ручная работа. Неудивительно, что токарь мог приготовить за смену не больше трех таких червяков. Для меня было ясно одно: или надо добиться, чтобы вращался стол вместе с деталью, или — мотор с резцами. И в моем воображении живо представился богомол, которого я однажды наблюдал на юге: это жуткое насе-

комое хватает своими передними огромными ногами, с шипами на ляжках, кузнечика и начинает быстро пожирать его, ловко двигая головогрудью, и эта страшная работа прожорливого чудовища произвела на меня незабываемое впечатление. Это движение головогруды было как будто движением мотора, очень четким, точным и изящным. И вот, обследуя этот станочек, я пришел к мысли, что один из его моторчиков можно так приспособить, что не деталь, а он будет двигаться по детали.

Я разыскал Брякина, молча взял его под руку и подвел к станку.

— Вот, Евграф Семеныч, находка: деталь Баранова режет ваш цех катастрофически... Да не только ваш цех — весь завод подавился этим червяком... Давайте снимем эту вещьцу с токарного и перенесем на фрезерный.

— Ну, и что же из этого выйдет? — хмуро спросил он.

Я доверчиво и дружески стал развивать ему свои соображения насчет реконструкции станка: нужно перевернуть один из моторчиков, нужно заставить его двигаться вместе с фрезерами, нужно изменить кой-какие мелочи и т. д. Тогда, мол, вместо двух-трех червяков можно выпустить за смену до двадцати штук. Он подошел к станку и задумался. Не оборачиваясь ко мне, он затряс плечами от немого хохота.

— Что же тут смешного, Евграф Семеныч?

Он быстро повернулся ко мне и, засунув руки в карманы, оскалил свои желтые крупные зубы.

— А мне нравится, ей-богу... Озорной вы человек... Вы думаете, я не приметил, как вы колдовали над этой машинкой?.. Хорошо! Вы требовали свободы действий, — ну и действуйте.

— Нет уж, извините, Евграф Семеныч! Как раз вы-то мне сейчас и нужны. Если вы одобряете мою мысль, то будьте-ка добры произвести некое разложение чисел... Без вас я ничего не могу сделать.

— Ох, хитрец какой! Дипломат!

Этот неожиданный выпад смутил меня. Он был злопамятен и обидчив, а обидчивые люди — мстительны. Они неизобретательны и ненаходчивы, нежизнерадостны и не способны к игре и задору. Они недоверчивы и лишены юмора. С Брякиным нужно было завязать дружеские отношения, поэтому я сделал вид, что сам обиделся.

— Что вы, Евграф Семеныч! Шуток, что ли, вы не по-

нимаете? С какой же стати я стал бы оскорблять человека, которого я вижу в первый раз?

Глаза его вспыхнули лукавым торжеством.

— Ах, оставьте, не лукавьте! У каждого есть своя ба-
лалайка.

— Вот именно! У вас — своя, у меня — своя. Ну и да-
вайте сыграемся.

Он совсем ошарашил меня: неожиданно облапил, сильно прижал к себе и даже приподнял немного. И я увидел перед собою простоватого парня, с хорошей улыбкой. Куда девалась его самолюбивая замкнутость и бездушная маска!

В этом цехе наша бригада работала полмесяца. Много времени тратили мы на организацию порядка. Цех был молодежный — большинство рабочих были подростки и девушки. Мы следили за тем, чтобы их приучали к дисциплине, к рабочему месту, к станку, к чистоте, к умению пользоваться временем. Были организованы три фронтовые бригады: ребята очень гордились тем, что они — «фронтвики», и старались не ударить лицом в грязь. Попржежнему парнишки и девчата окружали каждого из нас в обеденный перерыв и жадно расспрашивали, как добиваемся мы рекордов, что делать, чтобы и им стать как можно скорее такими же отличными мастерами. Мы разъясняли им, что нужно прежде всего хорошо знать станок и пользоваться им так, как музыкант инструментом, что нужно привыкнуть разбираться в резцах и уметь затачивать их, что надо точно изучить работу станка при любой нагрузке и при любом числе оборотов, только тогда будет ясно, как настраивать станок, как увеличивать выработку при различных оправках и приспособлениях. А эти оправки и приспособления — дело личное: все зависит от способностей, от изобретательности каждого, от его любви к делу. Мы говорили, что они — на войне, а на войне люди делаются героями. Часто мы разбирали работы успевающих и отстающих, заставляли ребят самих искать причины ошибок и успехов и избегать повторения ошибок в дальнейшей работе. Это были беседы живые, взволнованные, и нам самим было интересно проводить их с этим беспокойным народом.

Склад был вычищен и принял вид опрятного магазина, где номенклатура инструментов и всяких вещей была обозначена сигнатурами. Заведующий в лохматой шапке проявил необыкновенную деятельность, точно его действитель-

но обдуло свежим ветром. На рабочих местах появились шкапчики, где хранились на запоре инструменты, закрепленные за рабочими. Нам помогали и ленинградцы, и многие местные рабочие во главе с Барановым, и особенно рьяно—подростки. Параллельно шла и рационализаторская работа под руководством нашей бригады: кое-что пришлось перенести из практики нашего цеха, кое-что придумывать вновь, а кое-что перехватить из предложений рабочих и даже подростков.

ХII

Однажды ночью, когда я уже ложился спать, пришел Тихон Васильевич. Вошел он тихо, крадучись: вероятно, думал, что я сплю. В прихожей он шептался с Аграфеной Захаровной, виновато оправдываясь в чем-то. Потом настала тишина, скрипнула дверь. Я вышел в прихожую, постучал в кухню и, не ожидая ответа, вошел к ним. Тихон Васильевич сидел за столом, красный, всклокоченный, очень усталый. Но встретил он меня с такой радостью в глазах, точно мы очень давно не видались с ним.

— Ну, явился наконец, — приветствовал я его, протягивая руку. — Как тебе не стыдно издеваться над женой — такой самоотверженной женщиной!

Видно было, что ему досмерти хочется спать. Аграфена Захаровна хлопотала у плиты. Она не обернулась, но я по спине ее видел, что она довольна.

— Коля, кировцы первого места не завоюют, будь спокоен. Большие дела делаются...

Аграфена Захаровна радостно огрызнулась:

— Ежели так будешь изо дня в день варить себя вместе со своей сталью, на карачках заползаешь. Я вот жаловаться на тебя пойду директору.

Тихон Васильевич подмигнул мне и кивнул головой на Аграфену Захаровну. Потом показал большим пальцем назад, за свое плечо.

— У кировцев — львы, дьявольский народ. Там один татарин есть — Османтуллоу. Зверь! С ним покоя не жди. Письмо мне прислал сегодня: признаю, говорит, себя в этот месяц побежденным, а в будущем месяце угрожаю перекрестить тебя, дорогой товарищ. Ну, как тут спать будешь?

Взглянув исподлобья на мое лицо, он покачал головой, и в глубине его глаз засветилась очень добрая улыбка.

— Тоже и ты вот... не спишь, Коля... Трудно тебе, друг... Нам что! Мы — дома. А ты, можно сказать, в кулаке сердце свое держишь... И воюешь... да еще как!

Оба они всегда трогали меня своим участием, и мне было совестно, что я ничем не мог отплатить за их сердечность, кроме горячей моей привязанности! Вот и сейчас не о себе, не о своей работе говорил Тихон Васильевич, не о тяжести своего труда, не о том, что вынуждает его не спать по суткам, а — обо мне, забывая, что его работа в тысячу раз тяжелее моей.

— Обо мне не толкуй, дорогой Тихон Васильич... — упрекнул я его, — а вот нормального отдыха ты не знаешь. Это, брат, совсем нехорошо: не к твоей чести.

Аграфена Захаровна быстро обернулась ко мне и одобрительно улыбнулась. Она даже подбодрила меня взглядом, чтобы я покрепче пробрал Тихона Васильевича.

— Разреши, брат, дружески поругаться с тобой, Тихон Васильич. Если ты так решил соревноваться с кировцами, то ты зарежешься, каким бы ты богатырем ни был. Хоть вы, уральцы, и упрямый народ, но работать нахрапом и штурмом — заслуга небольшая. В соревновании победитель тот, кто утомляется меньше, а срабатывает больше.

Аграфена Захаровна, ободренная, набросилась на него:

— Хорошенько его, Николай Прокофьевич!.. Кроме стали, у него ничего нет в голове. Только и остается — ловить его и под замком держать.

Он хрипло захохотал, подхватил ее своей ручищей и привлек к себе.

— И будет запирать, ей-богу!.. И позору моего не устратится...

— И правильно делает: сберегает твои силы и в разум приводит. Внушает тебе, товарищ Работкин, что в соревновании надо уметь сочетать и труд и отдых. Для этого люди придумывают разные приспособления, — в час дать продукции столько, сколько даешь в смену, а потом пользоваться спокойным отдыхом и не мучить близких людей. Зачем ты пропадаешь на заводе в неположенное время? Значит, брюхом берешь, а не технологией.

Он с угрюмой усмешкой взял кусок хлеба, круто послал его и с жадностью вонзил в него зубы.

— Вы, станочники, можете всякие фокусы строить, а у нас, на мартенах, быстро не разыграешься.

— Но ведь ты же решаешь какие-то задачи... Я же знаю...

— А как же? У кировцев — такие звери и ловкачи, что оторопь берет. Один Османтуллов чего стоит... Поневоле приходится разведки делать... Поучиться уму-разуму я всегда непрочь.

— Выходит, что шапками закидать новых людей уральцам-то не так легко... — пошутил я. — Война спесивых не любит.

Аграфена Захаровна поставила перед ним полную тарелку щей, сама круто посыпала перцем и размешала большой деревянной ложкой (он любил есть только деревянной ложкой). Он раз за разом отправил в рот две ложки щей, и лицо его стало вдруг благодушно-кротким.

Ел он как-то вдумчиво и деловито: хлеб откусывал от большого ломтя, чтобы не терять крошек, щи брал полной ложкой и подносил ко рту медленно, осторожно, с суровым лицом. Я ни разу не видел, чтобы Аграфена Захаровна сидела рядом с ним за столом: она только обслуживала его, стоя у плиты, и пристально следила за каждым его движением. Это было в обычае уральцев и сибиряков, и, хотя Тихон Васильевич прошел большой путь революционной борьбы и был ударником пятилеток, обычай этот держался и в его семье.

— Наш род Работкиных — старинный, столбовой уральский, — говорил он не раз, когда мы сидели за чаем. — Еще при царе Петре мой пращур у печи стоял. С тех пор мы, Работкины, все — литейщики и сталевары. Деды и отцы свои секреты имели и передавали их от сыновей к внукам. Только эти секреты для нашей советской индустрии маленько устарели...

Ученики Тихона Васильевича рассеяны были по всем заводам Урала, и их с уважением называли «работкинским выводком». Он гордился этим и, когда читал в газете об успехах своих учеников, радостно волновался и щелкал пальцем по измятому листу.

— Вот он, стервец, как шурует! Работкинская наука всегда высокого класса. Уральцы не посрамят земли русской.

Мне была понятна его уральская гордость: ведь и мы, ленинградцы, дорожили своими пролетарскими традициями и непрочь были подчеркнуть при случае свою историческую роль.

Сначала мне казалось, что уральцы встретили нас недоброжелательно и хмуро. Они чуждались нас, разговаривали неохотно, а иногда пренебрежительно насмешничали:

— Что ж... мы — люди гостеприимные: милости просим! А вот немцев бьют наши гвардейцы, и техникой снабжаем армию мы, уральцы...

А однажды на конференции передовиков производства один пожилой рабочий, такой же «столбовой уралец», как Тихон Васильевич, во время перерыва самодовольно сказал в разговоре с нами, «западниками»:

— Вы, москвичи и ленинградцы, может, поучить нас думаете? В ваших выступлениях душок этот чувствуется: технология да технология! А ведь не было еще таких искусников, которые удивили бы уральцев. Своего первенства седой Урал никому не уступал и не уступит.

Но Тихон Васильевич всегда был деликатен со мною и никогда не бросал мне таких кичливых фраз, хотя этот уральский патриотизм и в нем таился довольно упорно. Когда же мы монтировали свой завод и в самые сжатые сроки, не жалея себя, готовили цехи и агрегаты к пуску, а потом в жестокие морозы и вьюги чуть ли не под открытым небом пускали в ход станки, он первый с изумлением поглядывал на меня и озабоченно бормотал:

— Здорово закручиваете... даже уральцам в диво... наперекор всяким невозможностям... Вот это — настоящая война!..

Один за другим мы открывали цехи, люди не уходили со своих участков по несколько суток, а инженеры трудились, как рядовые рабочие. Строительные работы шли параллельно, новые «коробки» сбрасывали свои леса, прокладывались подъездные пути, и за недостатком транспорта толпы рабочих и инженеров тащили лямками тяжелые детали машин на броневых листах. Несколько цехов были пущены раньше срока. Но старый завод разворачивался медленно и трудно, переоборудование приходило с задержками. Литьем он нас снабжал с перебоями. Новогоднее письмо вождю мы подписывали вместе с уральцами. Наш завод вызвал их на соревнование и поразил смелыми и уверенными обязательствами. Я был одним из делегатов по заключению договора, и, когда мы в тревожной тишине приступили к обсуждению условий договора, я впервые увидел теплоту в глазах уральцев. Тихон Васильевич, лу-

каво улыбаясь, выступил и с озорным вызовом оглядел каждого из нас.

— Заранее предупреждаю вас, товарищи ленинградцы: знаете ли вы, с кем хотите соревноваться? Мы, уральцы, от кировцев вызов получили... сильный, сурьёзный коллектив... и приняли этот вызов с легкой душой. И они и вы хорошо учитываете наши преимущества. Но этого мало. Вы еще не знаете нашего уральского духа. Подумали ли вы над этим, товарищи?

Отвечая ему улыбкой, я с достоинством представителя ленинградцев сказал:

— Мы подумали основательно, товарищ Работкин, и рады выразить вам свое уважение. Но вы, уральцы, не учитываете сил и творческих возможностей рабочих города Ленина. Нам лестно побороться с вами, поэтому мы смело вызываем вас на честный бой..

Тихон Васильевич молодцевато пожал мне руку и первый расписался на договоре.

При встречах с ним у себя дома мы ни разу не говорили о ходе соревнования: как-то бессознательно избегали такого разговора, точно щадили самолюбие друг друга. Борьба шла уже два месяца с переменным успехом. Но, когда цех Брякина начал выправляться, завод наш сразу пошел вверх по всем показателям. Литье попрежнему поступало с перебоями, и мы послали на старый завод «толкачей». Мы с Петей внесли предложение о введении часового графика в нашем цехе. В виде опыта этот график применили на нескольких станках. Контролер непрерывно принимал продукцию, а распределитель собирал у него сведения и отмечал на миллиметровой бумаге. Линии на бумаге вздрагивали, шли горизонтально или опускались и поднимались. Сейчас же выяснялись причины снижения или рывков и устранялись те препятствия, которые мешали равномерной работе. Весь цех взбудоражился, и однажды в обеденный перерыв рабочие и подростки собрались около нас и потребовали ввести часовой график всюду — на всех отдельных операциях и на рабочих местах. Наш начальник цеха, скромный и молчаливо-деловитый человек, распорядился немедленно перестроить работу на часовой график во всем цехе. Теперь ход всех операций учитывался с математической точностью. Потом этот график введен был всюду на заводе. Уральцы забили тревогу и тоже схватились за график. Завязался горячий поединок. В этом

поединке Тихону Васильевичу было не легко: ему приходилось драться и с кировцами и с нами. Мы лезли вверх и одолевали уральцев по всем показателям.

И вот в этот вечер Тихон Васильевич был особенно кротким. Сидел он за тарелкой щей, ел с аппетитом голодного человека и, отдыхая, говорил благодушно:

— Ты вот об отдыхе толкуешь, Николай Прокофьевич. А я всю жизнь — около печей. Привык. Придешь, бывало, домой, выспишься, а потом и не знаешь, что делать: руки лишние, голова пустая, и все тело тяжелое. Я так сильней устаю. А придешь на завод, к своему месту, — сразу встрепенешься. Сейчас я и сменщику своему помогаю: способный парнишка, а еще молодой — надо его самого перерабатывать.

Аграфена Захаровна стояла у плиты и, любясь им, слушала и не могла наслушаться. Действительно, Тихон Васильевич говорил о стали, как о живом существе, словно сказку рассказывал:

— Плох тот сталевар, который не чувствует души металла. Надо любить и сердцем переживать его жизнь. Надо уметь чутко улавливать ту секундочку, когда плав созревает, и в свой момент дать ему свободу. От этого зависит и крепость брони и грозная сила оружия. У нас, у уральцев, это чувство — в крови.

К этому добродушному силачу я чувствовал дружескую теплоту, и встречаться с ним мне всегда было приятно. Когда же он пропадал на заводе и я не видел его по нескольку дней, или он приходил, когда меня не было дома, или я уходил, когда он храпел в своей комнате, — я испытывал что-то вроде тоски по нем. Разговаривать с ним было интересно и легко: в нем привлекала большая любовь к труду, радостно-тихая удовлетворенность от физической усталости и полнокровное ощущение своей силы. Его личная жизнь и его работа были нераздельны: говоря о себе, он говорил о заводе, говоря о мартенах, он выражал свои заветные чувства. Но меня иногда раздражало его уральское самолюбование: выходило, что уральцы — это особый народ, какая-то исключительная порода людей, которым свойственны особые качества и таланты. Я подтрунивал над ним, и он благодушно усмехался.

— И чего это вы, уральцы, так кичитесь и любуетесь собою? Мы, Тихон Васильевич, приехали к вам не в гости: Урал принадлежит в такой же степени и нам, как и вам.

Ни вам, ни нам кичиться нечего. А вот помочь друг другу и позаимствовать друг у друга мы можем многое.

Он смотрел на меня исподлобья и ел безмятежно, с улыбкой добряка.

— А я ничего не говорю, Коля... Мы все — дети одной матери... Ну, иной раз поозоруюшь для затравки, чтобы раззадорить... Конечно, есть у нас такие пустоболты, но их в счет ставить нельзя... Мы — на войне, и жить нам надо дружно, тесно, впритирку...

Аграфена Захаровна не на шутку встревожилась, но подошла к нам тихо, осторожно и по-матерински положила руки на наши плечи.

— Это хорошо, Николай Прокофьевич, что вы пошлепали его: есть у них, у этих горняков, свое чванство: будто с каким-то благородным тавром щеголяют...

— Во, видал? — с притворным негодованием крикнул Тихон Васильевич. — Это называется: честь мужа поддерживать...

Но Аграфена Захаровна спокойно и мягко продолжала:

— Только Тиша — не такой. Вы не сердитесь на него. Слова-то у него больше так, для забавы. Побалагурить любит...

И вдруг с милой строгостью набросилась на него:

— А тебе нечего словами баловаться!.. За слова не спрячешься. Задали вам перцу приезжие, а теперь ты и из завода не вылазишь. Попробуй-ка сейчас по-новому перестроиться: вот это будет заслуга. Лучше бы с Николаем Прокофьевичем посоветовался...

Тихон Васильевич похлопал ее по спине и засмеялся.

— Ах, ты, Милитриса Кирбитьевна! Нет тебя на свете краше, а меня, молодца, храбрее... Верно, Коля: ничего не возразишь... Здорово вы нас постегали! Приходится драться с вами не только хребтом, но и башкой. Себя переставишь узнавать... Другим человеком стал... Я о себе говорю... А ребята, между прочим, тоже в смуте... В борьбе всегда достигается новое, а новое — всегда трудно. Зато это — наука победы. А в победе — всегда облегчение и свобода.

Аграфена Захаровна радостно всплеснула руками.

— Ну, слава богу!.. В себя стал приходиться... Теперь я спокойна: как в бане вымылся...

Мы от души посмеялись.

Я уже разделся и хотел выключить свет, но в этот момент гул далекого взрыва потряс весь дом. Что-то упало в кухне и разбилось. Электричество потухло. Я подбежал к окну и увидел над крышами домов кровавое зарево и черную тучу, которая поднималась ввысь. У меня бурно забилось сердце. Взрыв на заводе... выведены из строя цехи... Что-то произошло страшное... У меня тряслись руки и ноги, и я никак не мог сладить с своей одеждой. Кое-как я нашел спички и зажег лампу. Аграфена Захаровна, потрясенная, вбежала ко мне в комнату.

— Чего это, Николай Прокофьич?.. Рвануло-то как!.. Уж не немцы ли...

— Ничего, Аграфена Захаровна... Идите к себе... Успокойте Тихона Васильича.. Я сейчас побегу, узнаю, в чем дело...

Она скрылась в черной дыре отворенной двери, и через минуту я услышал хриплый бас Тихона Васильевича:

— Отойди, Груня!.. Слышь, что ли?.. Как я могу... ежели печи... А ежели вдрызг?.. Не мешай, говорю!.. Коля!.. Николай Прокофьич!..

Но я опрометью выбежал на улицу. Впереди полыхало багровое зарево. Черный дым клубился над бульваром, зловеще красный по краям. Всюду перекликались тревожные голоса, хрустел снег под ногами бегущих людей. Вдали звонили колокола пожарных машин.

В проходной была толкотня. Двое милиционеров боролись с напиравшей толпой и, освещая фонарями лица людей, орали:

— Пропуска, пропуска, товарищи!.. Не напирай!.. Сохраняйте порядок!..

А из толпы осатанело ревели:

— Давай, давай!.. Не видишь, люди с ума сошли?.. Тут завод взрывают, а ты хочешь порядка!..

Я кое-как пробрался вперед и выскочил на заводской двор. Всюду была кромешная тьма, пронизанная мутно-багровыми вспышками. Перегоняя друг друга, бежали рабочие и, тяжело дыша, перекликались:

— Это — баки... Горючее полыхает... Эх, как бушует!..

— Какая же это бдительность, сукинова сына!.. Где охрана-то была?

— Обязательно, братцы, диверсия!.. Говорят, трансформаторы разнесло...

На самой задней части территории завода, за градирнями, где проходили подъездные пути и лежали свалки обрезков металла и всяких отбросов, огромные языки пламени рвались вверх и гудели, как буря. Баки с горючим были изуродованы взрывом и свалились в стороны, как трупы каких-то невиданных допотопных чудовищ. Одна металлическая мачта высоковольтной передачи была опутана толстыми проводами, как паутиной. Толпы рабочих, освещенные пламенем, сутолочно перебежали с места на место, лихорадочно работали лопатами и просто руками бросали снег в огонь на земле. В оранжевых сугробах снега текли огненные ручьи, как лава, а ураган пламени ревел над баками, и развороченные цилиндрические их стены, раскаленные докрасна, корчились и колыхались от жара. Пожарные в сверкающих шлемах что-то бросали в бушующий огонь, а через их головы летели красные фонтаны воды.

Мимо меня быстро прошел Павел Павлович, за ним — Седов и главинж. Я догнал Седова и схватил его за руку.

— Что это такое, Алексей Михайлович?

Он как будто не узнал меня, но замедлил шаг, словно вспоминая что-то. Потом сказал будничным голосом:

— Тыловое благодушие... С горючим будет туговато. Через час восстановим электропередачу. Иди домой, Николай. Ничего особенного, к счастью... только наглядный урок. Иди и выпишь хорошенько.

В толпе я столкнулся с Петей. Глаза его блестели лихорадочно, и в отблесках пламени лицо его казалось похуевшим и ожесточенным.

— И здесь! И здесь эти убийцы и диверсанты!.. Какие мы доверчивые дураки!..

Огонь начал быстро утихать, и мы пошли обратно к проходной. Вместо того чтобы расстаться на площади, мы тихо пошли по бульвару. Кое-где в окнах домов тускло маячили огоньки. Зарево, вздрагивая, уже потухало. Черная туча в красных отблесках растянулась широко над поселком. Петя, как-то странно поживаясь, бессвязно рассказывал о своем последнем свидании с Наташей. Она попрежнему не узнавала его, но в ее поведении произошла большая перемена: она нежно ворковала с Верочкой и счастливо посмеивалась, прижимая к себе призрак.

— Мне кажется, что это — возвращение к жизни... Как ты думаешь, Коля?..

Я прижал его руку к себе и успокоил его:

— Да, Петя, Наташа скоро выздоровеет, и вы опять заживете вместе. Я опять, как в Ленинграде, буду приходить к вам в гости. Жаль только, что нет Лизы... И песни бы попели, и поспорили...

Так, тихо разговаривая, замолкая и мечтая каждый о своем, мы дошли до конца бульвара и, когда повернули обратно, услышали позади скрип торопливых шагов. Две тени остановились и слились в одну. Они что-то невнятно забормotalи, перебивая друг друга, и так же торопливо разошлись в разные стороны. Одна из теней была выше другой на целую голову. Я узнал того военного, который остановил меня на этом же бульваре. Крепко сжав руку Пети, я рванул его вперед.

— Это — диверсанты, Петька... Я знаю... Бежим, захватим этого высокого!.. Его именно! Он раз уже задирает меня...

Мы сорвались с места одновременно и побежали вслед за высоким, который быстро шагал по дорожке, пересекающей бульвар. Он на мгновение остановился, потом рванулся вперед и перемахнул через оградку на мостовую.

— Стой! — крикнул я, задыхаясь. — Стой! Стрелять буду...

Петя обогнал меня и побежал по сугробу, но провалился до колен. Хотя я тоже провалился глубоко в снег, но добежал до изгороди и прыгнул на другую сторону. В этот миг раздался выстрел, и мне почудилось, что пуля свистнула около моего уха. Далеко по переулку бежал человек, скрипя сапогами по снегу. Мы со всех ног бросились за ним. Когда-то мы с Петей были хорошие бегуны и не раз первыми приходили к финишу. Он обогнал меня и перебежал на другую сторону переулка. Тень человека стала ближе, и мне казалось, что я слышу хриплое дыхание. Мелькнула вспышка, и опять раздался выстрел. И вдруг я увидел, что из снежного сумрака этот человек несется прямо на меня. Инстинктивно я подобрался, чтобы наброситься на него, но он вскинул руку с револьвером.

— Ага! Тебя-то мне и надо, — прохрипел он, но я ловко ударил его по руке и выбил револьвер и в ту же секунду подставил ему ногу. Он со всего размаху грохнулся на

снег. Я оседлал его, схватил за горло, но он гибко вывернулся, сковал рукою мою шею. В этот момент Петя ударил его в бок ногой и отшвырнул меня в сторону. А когда я очухался, вскочил на ноги, он душил человека и остервенело бил его по голове.

— Врешь... врешь, сукин сын!.. — надсадно рычал он. — Теперь не уйдешь... Я тебя прикончу... своими руками задавлю... убийца! бандит!..

Прибежали два милиционера и помогли мне поднять Петю на ноги. Он сразу же пришел в себя и посмотрел на свои руки. Мы подхватили человека подмышки, но он рыхло повис у нас на руках. Голова его болталась, как у трупa. Когда мы потащили его по дороге, ноги у него волочились по земле, вспахивая сапогами снег. Я поднял револьвер на тротуаре и спрятал его в карман. Человек очнулся только у дверей отделения милиции.

XIV

Деталь, которая сковывала весь прорывной цех, наконец вырвалась из плена токарного станка. Вместе с Брякиным мы оборудовали фрезерный станочек и приспособили один из моторчиков гулять задом наперед. С каким наслаждением любовались мы этим его веселым задором! Фрезеры грызли металл, разбрызгивали эмульсию, дымились, дышали паром, рокотали, и мне казалось, что они радостно ворковали, как голуби. Первую деталь обработал я сам. Около меня стоял по одну сторону Баранов, а по другую — Брякин. Я очень хорошо чувствовал, как они волновались. Я вынул готовенькую блестящую игрушку и посмотрел на часы: шестнадцать минут! Баранов ошалело глядел и на меня и на червяк, и у него дрожала на лице улыбка ребенка.

— Это же... это же, товарищ Шаронов... чорт те знает, что!.. Это же ведь.. погодите-ка.. в час четыре штуки, а за смену... Товарищи! ведь это же за смену — сорок!..

Он оттолкнул меня от станка и дрожащими руками схватил болванку. Я засмеялся и уступил ему место с удовольствием. По его уверенным движениям я понял, что парень хорошо может работать и на фрезерном станке. Мы взволнованно переглянулись с Евграфом Семеновичем, и я увидел в черных глазах его теплую влагу.

Я вспомнил, с каким увлечением работал он над реконструкцией станка: он постоянно обращался ко мне за советом по всяким пустякам, точно боялся, как бы ему не ошибиться, не оскандалиться передо мною, сам возился с разборкой и сборкой, как простой рабочий.

Встречал он меня радостно и даже протягивал навстречу мне руки.

Он распахнул передо мною свою душу: рассказал, как безотрадно жил с пьяницей-отчимом, литейщиком, как учился в школе с постоянным страхом в душе, что не выдержит и сбежит из дома, где он каждый день попадал под кулаки отчима. Эта нелюбимость и озлобление остались с тех диких лет. Но он все-таки добился своего — кончил школу и поступил в индустриальный институт. Работал он над собою с большим трудом. Близких товарищей у него не было, сходилась с людьми туго, общее развитие было слабое: на чтение книг нехватало времени. Он жил одной мечтой — быть инженером и работать на каком-нибудь большом заводе. Окончил он институт отлично и получил место конструктора на одном из уральских гигантов. Тут он как-то незаметно женился на дочери одного старого инженера. Сам-то он, может быть, и не решился бы на это, но девица была шустрая, напористая, рвалась из родительского дома и сама проявила большую инициативу. Тесть его был, вероятно, честный и работающий человек. Брякин работал под его руководством и пользовался его симпатией. Он был своим человеком в семье этого старого инженера. Как-то старик откровенно сказал ему:

— Вы — парень трудолюбивый и инженер способный. Искренно предупреждаю вас, Евграф Семеныч: с Ленкой вам будет трудно — избалованная девчонка. Своенравная. Изматает она вас, милый человек.

Брякин не ужился на заводе, и его перевели к нам технологом. Как и нужно было ожидать, жена работать отказалась.

— Я выходила замуж не для того, чтобы работать.

— Но нам трудно жить, — попытался он убедить ее. — Мой заработок — небольшой. Для вечеров, угощений и нарядов средств у нас нет.

— А это уж твое дело. Не надо было жениться. Своим принципом я не пожертвую для тебя. Впрочем, насчет вечеров и нарядов — это не твоя забота. Мне папа помо-

стояли с четверть часа, и, когда Баранов остановил мотор, толпа подвинулась вперед и как будто охнула. Баранов вынул серебристый червяк, окунул его в воду и, как фокусник, показал его всем, поворачиваясь и вправо и влево.

— Вот этого червяка я точил, ребята, целую смену, а сейчас, как видите, продрал его в четырнадцать минут. За такие дела виновников награждают, а уж я поцелую их.

И он схватил меня за плечи и поцеловал три раза крест-накрест, а потом бросился и к Брякину. Нас оглушили аплодисменты, смех, крики. Толпа забурлила, сдавила нас со всех сторон, и каждый старался продраться ко мне, к Брякину, к Баранову, чтобы восторженно пожать нам руки. Девчата и парни наперебой спрашивали нас о чем-то, тормозили, требовали чего-то, и в этом вихре криков и толкотни ничего нельзя было разобрать. Мне стало душно. А Баранов кричал:

— Ты пойми, голова: ведь сорок пять норм! Это же ведь — чорт те знает что!.. Месяц спрессовали в один день.. а?.. Теперь я знаю, что такое летать на крыльях...

Кто-то из толпы поднимал руку и кричал истошно:

— Товарищи! Слово прошу... Товарищ Седов!.. Душа кипит...

И, не ожидая, когда обратят на него внимание, закричал визгливо, стараясь покрыть гул и крики толпы:

— Товарищи, мы, правду сказать, спали... спали и ждали... Дождались, когда ударили... Пришли к нам... и даже оглушили, товарищи... А нам надо было самим... Грянул гром, и я стал другим человеком...

Кто-то обиженно обрезал его так же визгливо:

— Да что ты раскричался... Один ты, что ли?.. При ветре-то весь лес шумит...

А прежний голос перебил другие голоса:

— Теперь каждому пошуметь хочется... А почему раньше не шумели?..

— А потому... когда нет ветра, и лист не шелохнется...

— Как это нет ветра?.. Буря сейчас, товарищи... война... Выходит, мы и войны не чуяли?.. Не дело говорите, товарищи...

Крики и толкотня разгорались. Все хотели говорить, каждый старался высказать, что бурлило у него в душе. Седов поднял руку и с трудом добился тишины.

— Товарищи, это — больше, чем победа: это — переворот. Для вашего цеха наступили дни подъема и большой борьбы. У вас есть, за что бороться, и есть силы, чтобы побеждать. Вам не только придется догонять самих себя, но и драться так, как дерутся те товарищи, которые пришли к вам на помощь. Они многое для вас сделали, а главное, показали вам, как надо быть находчивыми, смелыми, изобретательными, чтобы побарывать препятствия. Только соревнование создает постоянное беспокойство и горячее стремление быть победителем... Поблагодарим товарища Шаронова и товарища Брякина за их замечательный пример творческого дерзания... Бригада товарища Шаронова...

Дальше ничего не было слышно, что говорил Седов: опять разразились рукоплескания, опять крики. Отчетливо было слышно одно слово:

— Соревнование... соревнование...

Я спросил у главинжа:

— А где же Никодим Фомич?

Он бесстрастно ответил:

— Он — хороший человек, но плохой музыкант. В нем нет горячего. Снят.

В этот день я не имел ни одной свободной минуты: переходил от одной бригады к другой, выслушивал различные предложения, давал указания, разъяснял, подбодрял, успокаивал горячих и рьяных...

XV

Большой радостью для меня было возвращение в свой цех, куда я принес готовую конструкцию приспособления для непрерывной обработки той детали, которая не давала мне покоя. Мне казалось, что, если я не доведу до конца этой работы, я не выполню своей клятвы. Пожалуй, я даже и не думал о своей клятве: она, как кровь, была неошутима, но насыщала все мое существование. Меня захватила новизна конструкции: каждую минуту я был во власти этого образа. Он преследовал меня и в цехе и дома. Я бежал за этим призраком, а он то приближался, то удалялся от меня. Он реял передо мной в плавном круговращении и преследовал даже во сне.

Я не раз хотел посоветоваться с Петей, но сдерживал

себя в последний момент. У меня как-то вошло в привычку хоронить в себе свой замысел — до тех пор таить его, пока я не добивался ясности и законченности. Я боялся одного: стоит только открыть тому же Пете мою мысль, стоит выложить всё, что терзает меня, и вся прелесть мечты, вся волнующая острота борьбы исчезнет. То, что обжигало душу, потухнет, распадётся. Вся глубина и смысл душевного смятения — в тайне замысла, в тайне мучительных исканий.

В нашей литературной критике иногда раздавались голоса, что невозможно поэтизировать машины и те вещи, которые производит человек с помощью этих машин, что поэтизация машин обезличивает человека и превращает его в придаток механизмов. Но это утверждали люди, которые не имели понятия о глубокой и величественной красоте механизмов, об их изумительной жизни и волшебной согласованности их движений. Эти движения прекрасны, как человеческий организм, потому что эти механизмы — чудесное создание человеческого гения. Что может быть поразительнее в мире, чем человек, вооруженный сложными двигателями и аппаратами, способными делать вещи самого тончайшего рисунка и производить циклопические работы одним нажимом рычага! Почему в былые времена, когда человек в своем маленьком сельском мире делал все своими слабыми руками, поэтизировались и воспевались соха, грабли и сивка? Почему сельская жизнь — это поэзия, а завод с тысячами людей и чудесных машин — скучная проза? Я думаю, это потому, что наши художники не знают этой сложной и огромной жизни, для них она — за семью печатями, на краю земли. Надо войти в этот великий мир, полюбить его, слиться с ним, отдать ему всей душой, удивляться ему, чтобы преобразить его в поэтические образы нетленной красоты.

Может быть, поэтому я так страстно люблю нашу литературу. Я перечитываю классиков и наслаждаюсь неувядаемой красотой их созданий. Но литература наших лет — литература, с которой я вместе рос, которая волновала меня, будила мысль, поднимала, окрыляла душу, — наша советская литература — это моя жизнь, мои мятежные порывы, мое настоящее и будущее. В минуты раздумий и душевных волнений я садился к столу и с бьющимся сердцем писал поэмы и повести. Я никому их не читал, не открывал этой тайны даже Лизе: я считал, что это —

не литература для печати, что это — только разговоры и песни наедине с собой. Только сейчас вот эту повесть моей души я пишу не таясь: это отчет о моей борьбе, как гражданина и воина.

Был один из тех вечеров конца марта, когда чувствуются и первые запахи весны, и острота ночных морозцев. Снег еще лежит сугробами в палисадниках, у фасадов домов и на обочинах бульвара, а мостовая уже чернеет булыжником или асфальтом. Покрикивают потревоженные галки на деревьях, а по аллеям бродят, тесно прижимаясь друг к другу, юные парочки. Я с удовольствием дышал свежим воздухом, хотелось подольше побыть на улице, полюбоваться густой россыпью мерцающих звезд. Я люблю смотреть на небо такими вечерами: в нем всегда читаешь книгу своей жизни, оно поет о детстве, о годах юности, о самом дорогом, милом и незабвенном. Оно, как поэзия, сохраняет только самые трогательные воспоминания. Это небо, эти созвездия тоже мерцают сейчас там, в Ленинграде, а Лиза, может быть, тоже смотрит на них и думает о нашей молодости.

На бульваре было безлюдно, только изредка попадались навстречу одинокие прохожие. Иногда с оглушительным грохотом проносился трамвай, туго набитый людьми, и на фоне пролетающих огней ветви деревьев причудливо сплетались между собою, как кружево.

Мимо прошли две девушки под руку. Одна была крупная и высокая, а другая — маленькая, как подросток.

— Это — Шаронов... Слышь, Шурка!..

Я хотел было свернуть на боковую дорожку, чтобы выйти на тротуар, но услышал за собою бегущие шаги и взволнованное дыхание.

— Николай Прокофьич! — робко и виновато позвала меня Шура. Я узнал ее по этому ее нервному и робкому голосу. — Николай Прокофьич! Подождите минутку!..

Я остановился.

— Николай Прокофьич, вы, пожалуйста... простите меня...

— Ну, ну, Шура!.. Что за церемонии!..

Она подбежала неуверенно и смущенно, а когда остановилась, вскинула голову, глубоко вздохнула и стыдливо засмеялась. Подруга ее медленно удалялась от нас и таяла в снежной полутьме.

— Николай Прокофьич, я... я давно хотела... посоветоваться с вами...

— А чего вы так волнуетесь, Шура?

Я взял ее под руку и подвел к скамье. По руке ее струилась дрожь.

— Что-нибудь случилось с вами, Шура?

Она немного отдышалась, сдавила обеими руками свою вязаную шапочку и опять нервно засмеялась. Мы сели на скамью, врытую в землю, очень низенькую, занесенную давнишним снегом.

— С кем это вы гуляете, Шура?

— Мы не гуляем... Мы из госпиталя шли... Это — Тамара... Она вас первая и заметила... А как только назвала вас, я сразу и остановилась... И броситься к вам хотелось, и страшно было...

— Да полно вам глупости говорить, Шура!

— Ничего не глупости... Вы вот очень хороший... И никогда не говорите ни грубости, ни резких упреков... Я никого еще так не уважала...

— Ну, перестаньте, Шура!

— Ах, Николай Прокофьич! Мыслей у меня много, желаний много... Хочется всю себя отдать... Родина такая большая, а я такая ничтожная... И вот даже на маленький подвиг, должно быть, не способна... Думаешь: ну, хоть бы выпало мне счастье собой пожертвовать...

— Вы же работаете, Шура, — чего же вам еще нужно? Подвиги — там, где горячая любовь, — любовь к труду, к борьбе, к людям... Я думаю, Шура, что вы-то именно и совершаете эти подвиги, да мы не видим, да и сами вы не сознаете.

Она подобралась и осмелела.

— Нет, не говорите мне этого, Николай Прокофьич! Я еще девчонка. Что я могу? Ни знаний, ни опыта. Хотела на фронт медсестрой — не вышло. Донором была... но разве это подвиг?.. На завод пошла, и вот эгоистически счастлива, что под вашим руководством работаю... А что из меня толку?.. Все у меня как-то нелепо, глупо... точно плутаю на голом месте... И вот последнее... Тут я уж совсем увязла... Тамара сейчас прогнала меня, чтобы я вам все выложила... И я думала, да духу нехватало... Но вы всё поймете... потому что вы сами страдали и страдаете... У вас жена в Ленинграде, а там люди умеют стра-

дать и бороться... Там-то и есть настоящий экзамен на человека...

— Почему же только там, Шура? — мягко возразил я. — Экзамен на человека мы держим и здесь.

— Да, конечно, — живо согласилась она, но торопливо добавила: — Я только говорю о том, Николай Прокофьевич, что там, вероятно, люди считают преступлением хвастаться, рисоваться, жадничать, хамить...

Я знал ее мало: я видел ее у станка, старательной, восприимчивой и немного странной. А теперь я чувствовал ее иной: она жила не только работой у станка, не только интересовалась своими трудовыми успехами, но и чем-то другим — большим, опалившим ее душу. В голосе ее чувствовалось смятение.

— Эти два месяца, Николай Прокофьевич, для меня прошли, как два года. Мне кажется, что я даже состарилась. Вы знаете, что мы, комсомольцы, взяли шефство над одним госпиталем. И вот мы, девушки, стали ходить к раненым бойцам и командирам — читали им, писали письма и... всякие там услуги... Привязалась я к одному лейтенанту... ну, и он ко мне, конечно... Молодой совсем, как мой одноклассник. А ранение у него очень серьезное: кисть руки оторвало и половина лица изуродована — кожа сорвана сверху до подбородка. Но глаза такие ясные, такие доверчивые... и душа, как у ребенка... Читаю я ему и чувствую: смотрит он на меня, не отрываясь, и что-то переживает. Оторвусь от книги, встречаю молчаливые глаза — жуткие такие, со слезой. Вижу, не слушает он меня, а думает о чем-то мучительно. Склонилась я над ним, взяла его руку, бледную, с синими жилками, и спросила: «Миша, что с тобой? Почему ты так страдаешь? Тебе больно?» Мы уже привыкли звать друг друга, как близкие товарищи: он меня — Шурой, я его — Мишей. Платок у него на груди всегда лежал. Взял он здоровой рукой этот платок и вытер слезы. Чужим каким-то голосом ответил мне: «Да, Шура, мне больно... не от ран моих, нет... я страдаю и больно мне от того, что для радости жизни я — человек уже конченный. Какая девушка полюбит меня теперь — без руки... с ободраным лицом?.. Я могу только возбуждать... хотя бы вот у тебя... одну жалость, сострадание!..» — «Что ты, — говорю, — Миша! Разве любят только за нетронутое тело? Любят человека, Миша». И прямо в лицо ему, не задумываясь, сказала:

«Взять, — говорю, — меня вот... Я очень тебя полюбила... Всего тебя понимаю и чувствую... И ты мне дорог на всю жизнь...» — «Ах, — говорит, — что ты мне толкуешь, Шура! Ведь это только слова... такие слова, которые может сказать каждая сердечная медицинская сестра...» А глаза в слезах тонут. «И хотел бы, — говорит, — да не могу поверить. Не воспринимаю, — говорит — и ничто меня не убедит...» — «Хорошо, — говорю, — Миша, я готова стать твоим самым интимным другом на всю жизнь — женой твоей, и буду счастлива, если ты будешь счастлив со мной». Только я это произнесла, вдруг он точно сознание потерял. Я даже испугалась и хотела уж на помощь звать. Но он открыл глаза и тихо, с ненавистью, приказал: «Уходи от меня сейчас же! Слышишь? Уходи и больше ко мне не являйся!» Слушаю его, а ноги и руки немеют, сердцу холодно, и все закружилось вокруг...

Она замолчала и опустила голову на грудь. Мне показалось, что она изо всех сил борется со слезами. В эти минуты она мне стала близкой и дорогой, как сестра, которая ищет у меня поддержки.

— Ну, и что же, Шура?.. Видели вы его после этого?

Она судорожно вздохнула и твердо ответила:

— Я приходила к нему два раза, но он не допустил меня. А сегодня, когда я вошла к нему в палату, он даже на локте поднялся и крикнул: «Уходи! Я не хочу тебя видеть. Сейчас же уходи!..»

— Скажите мне откровенно, Шура: действительно ли вы его любите? Нет ли здесь самообмана, насилия над собой?

Она помолчала, подумала и горячо сказала:

— Я сама долго мучилась... Но одно скажу: для меня сейчас такая радость быть около него...

И вдруг в порыве отчаяния и надежды она схватила меня за руку и умоляюще крикнула:

— Ну, скажите мне, Николай Прокофьевич... Скажите мне, что делать... Он мне не верит... Он ненавидит меня... Он думает, что все это у меня — от жалости к нему, что я жертву ему хочу принести...

Я слушал ее и чувствовал, что сам беспомощен. Ну что я могу посоветовать ей? Чем могу помочь? Не идти же мне самому к этому лейтенанту, чтобы убедить его в том, что он не прав, что он не оценил души этой девушки? По его поведению видно было, что он — парень честный и

не способен красть счастье: обманное счастье он отвергает, потому что такое счастье — преступление. Он хочет не жертвы, а полной молодой радости. Он не верит Шуре потому, что в себя не верит: как может здоровая, миловидная девушка полюбить калеку?

— Я не знаю, что вам сказать, Шура... — ответил я сдержанно и деликатно. — Но мне кажется, что вы должны заставить его почувствовать, что вы именно та девушка, которая пришла к нему сама...

Она страстно рванулась ко мне.

— Но как? Как, Николай Прокофьич? Он же меня не допускает к себе...

— Не знаю. В этих случаях советовать нельзя. Если вы действительно любите его и он вас любит... мне кажется, что любит... вы сами найдете выход... У любви — свои дороги, для нее нет преград.

Она нерешительно встала и задумчиво протянула мне руку.

— Спасибо вам, Николай Прокофьич...

— За что же?

— За то, что выслушали... и почувствовали...

Она медленно пошла по дорожке бульвара и растаяла в снежном сумраке ночи.

XVI

Огромная радость бывает так же опасна, как горный обвал.

Из заводууправления я получил раскрытую телеграмму:

«Нахожусь в госпитале в Казани. Переживаю радость жизни. Страшно хочу тебя видеть. Обнимаю, целую. Игнат Шаронов».

К телеграмме была приложена записка Павла Павловича:

«Дорогой Николай Прокофьич! Не сердитесь за вскрытую телеграмму: распечатана по ошибке. Счастлив вместе с вами. Если Вы пожелаете поехать или полететь к брату, рад содействовать Вам. Когда же пускаете в дело Ваше новое приспособление? Крепко жму руку. Ваш П. Буераков».

В первое мгновение я ошалел. Все смешалось передо мною: машины и люди залетали в воздухе, и сумеречный

цех залился светом. Помню, что я замахал руками и закричал во всю глотку:

— Игнашка жив!.. Братишка мой родной!..

Я кружился на одном месте, потрясая телеграммой, и хохотал, как тронутый умом.

Первый подбежал ко мне Вася и схватил за плечи.

— Говори, что стряслось, а то сам плясать буду...

— Пляши, Вася! Игнаша, братишка, живой!.. Вот телеграмма... В Казани, в госпитале...

Вася выхватил у меня телеграмму и впился в нее глазами.

К нам начали подходить рабочие, и телеграмма пошла по рукам. Меня поздравляли, жали руки, обнимали... Я не видел лиц и не ощущал рук. Я носился в вихре света и оглушительных криков. Не заметил я также, когда разошлись рабочие и как водворилась тишина. Очнулся я от тихого голоса Шуры:

— Николай Прокофьич, я остановила ваш станок: деталь запорота. Поздравляю вас, Николай Прокофьич!..

В этот день я дал новый рекорд и решил завтра вместе с Петей провести испытание нового моего приспособления. Удивительно, я не испытывал никакого напряжения. Я довел станок до последних пределов скорости. Фрезеры дымились, эмульсия дышала паром и мельчайшими брызгами вонзалась в лицо.

Петю я нашел в инструменталке. В синем халате, он стоял у стола и, увлеченный какой-то работой над аппаратом, не заметил, как я подошел к нему. Я сунул ему телеграмму и посмотрел на него так, что он растерялся.

— Ты... не пьян?.. Что-то я тебя таким никогда не видел...

— Пьян, Петя... от счастья пьян... Читай скорее!..

Он пробежал глазами текст телеграммы и, возвращая ее, сказал спокойно:

— Поздравляю. Очень рад за Игната. Поедешь?

— Непременно.

Он опять повернулся к аппарату.

Этот диск, похожий на металлический цветок, был еще в первородной чешуе, он не сверкал еще отшлифованной красотой своих частей и в нем не было еще жизни, но он уже трепетал от желания срастись со станком. Он лежал перед нами на столе, освещенный электричеством, и мы чувствовали, что он нам бесконечно дорог, как неотделимая

часть нашей души. Сколько заключено в нем бессонных ночей, сколько мучительной борьбы, исканий и кропотливой работы мозга! И вот в результате — обидно простая игрушка, каруселька с автоматическими зажимками, которая непрерывно подхватывает новые и новые поделки, и фрезеры начинают жевать сразу же двадцать деталей. Это — маленький конвейер, который вращается плавно, пульсируя и играя, смеясь и воркуя.

Мы еще раз проверили его на станке и еще раз пережили радость творческого удовлетворения.

— Как чудесно вышло, Николай!.. — с улыбкой сказал Петя, снимая халат. — Воскрес Игнатий, и явилась на свет эта карусель... В этом хочется видеть какой-то глубокий смысл...

Мы вышли на площадь, горящую мартовским солнцем. Старый снег, покрытый пеплом, изрыт был солнечными лучами, слезился и сверкал алмазными иголками. Высокие дома вокруг площади ослепительно блестели белыми и желтыми стенами. Орали грачи на бульваре, и от их радостного крика хотелось смеяться. Как-то особенно отчетливо звучали голоса детей. Далеко за городом, на взгорьях, туманно темнели сосновые леса, и воздух там был сиреневый. Сверкая плоскостями, реяли над нами очень высоко несколько призрачных самолетов. Их струнный звон плыл к нам глухими волнами.

— Новая партия штурмовиков... — сказал Петя, — сказал невольно, отмечая свое впечатление и совсем не думая о них. И, когда я увидел их перламутровый блеск, я не утерпел и крикнул:

— Игнаша! Родной! я увижу тебя скоро... Ах, Петя, как это замечательно!..

Он медленно повернулся ко мне и посмотрел на меня грустно.

Мне стало стыдно своего счастья. Внезапная радость всегда лишает нас разума.

Расстались мы молча. Он слабо пожал мне руку и, не оглядываясь, пошел своей дорогой.

На бульваре меня поджидала Шура. Большие ее глаза смотрели мне навстречу пристально и нетерпеливо.

— Я вас провожу немножко, Николай Прокофьевич, — сказала она, взглянув на меня вопросительно.

Мы некоторое время прошли молча.

— Вчера я получила записку от Миши. К нему меня не пустили.

Она вынула измятый клочок бумаги и прочла:

— «Не приходите ко мне больше, Шура, забудьте обо мне. Вы, конечно, будете этому рады. Но я с ума схожу. Я держу около себя тот стул, на котором вы сидели постоянно. Иногда мне кажется, что вы еще сидите на нем с книгой в руках, и я вижу ваше лицо и глаза, в которых светится ваша душа. Но... я предпочту скорее умереть, чем принять вашу жертву».

— Ну, что вы на это скажете, Николай Прокофьевич?

— А у вас-то самой, Шура, есть ответ?

Она вздохнула и подняла голову.

— Сейчас иду к нему. И никто меня не удержит. Я войду и сяду у его кровати. Он будет кричать и гнать меня, а я буду сидеть спокойно, смотреть на него и ждать. Я измучилась, Николай Прокофьевич, но для этого последнего часа сил у меня хватит...

Лицо ее покраснелось, и глаза лучились верой. Я уже по-родному любил ее — такую простую, горячую русскую девушку, жаждущую беззаветной любви и подвига. В ней я чувствовал что-то общее с моей Лизой.

XVII

От Лизы не было ни писем, ни ответа на телеграмму. И я опять начал нервничать. Я телеграфировал ей, что Игнаша жив и находится в госпитале и что на-днях я поеду к нему в Казань.

Обидно, что отец не прислал мне за этот год ни одного письма. Впрочем, неудивительно: он вообще никому не писал никаких писем. О своем трудном житье и работе он тем более не будет писать.

Держать ручку или карандаш он не охотник. Это занятие он предоставляет Лизе и знает, что она напишет мне о нем все, что найдет нужным.

Испытание моего приспособления прошло блестяще, но никогда еще я так не волновался, как в эти минуты. В цех нагрянули все руководители завода во главе с Павлом Павловичем, Алексеем Михайловичем, главинжем и начальником конструкторского бюро Забываевым, седовласым молодым человеком, который почему-то привык смеять-

ся при разговоре. Слушает он других серьезно, но когда отвечает или доказывает что-нибудь, обязательно смеется.

Первый подбежал к нам Забываев и сразу вцепился в прибор. Он начал вертеть его в руках и жадно осматривать со всех сторон.

— Любопытно, за-ни-ма-тель-но... — сиповатым тенорком бормотал он и смеялся. — Можно было бы приготовить изящнее и для глаза привлекательнее, но по простоте, по целесообразности и даже по примитивности — это творение природы...

И трудно было понять — восхищается ли он или издевается над нашим изделием. Но Павел Павлович лукаво подмигнул нам и прикрикнул на Забываева с шутливым негодованием:

— Ну-ну, чего заграбастали! Вот завидушее бюро! Нечего чужими руками жар загребать — сами выдумайте...

Он выхватил прибор из рук Забываева и сразу стал серьезным, вдумчивым и строгим. Внимательно и неторопливо осмотрел он каждую деталь и соображал, как должна идти работа с помощью этого аппарата. Седов прислонился к Буеракову и даже приложился щекой к его шапке. Главинж, Владимир Евгеньевич, стоял неподвижно и смотрел на прибор бесстрастно. Но он успел уже раньше ознакомиться с ним и теперь как будто совсем им не интересовался. Откинувшись назад, Павел Павлович торжественно протянул Пете аппарат.

— Вручаю вам это творение природы и прошу вдохнуть в него душу.

Но Петя отступил на шаг и улыбнулся мне.

— Не по адресу, Павел Павлович: вот автор этого творения.

Я загорячился:

— Это возмутительно, Петр Иваныч! Я — такой же автор, как и ты.

Но прибор все-таки подхватил из рук директора и сердито перенес его на станок.

Седов улыбался про себя и хранил мудрое молчание. Павел Павлович озадаченно поднял брови. Он обменялся с Седовым и главинжем лукавой переглядкой и развел руками.

— А все-таки кто же из вас автор-то? Ну-ка, разоблачайте друг друга!

Петя показал пальцем в мою сторону и засмеялся.

— Ну, конечно, он.

Я огрызнулся:

— Я — в такой же степени, как и он.

Но Петя уже серьезно пояснил:

— Моя роль была скромной: я был только консультантом.

Седов усмехнулся, пожал плечами и обличил меня:

— Ну, чего прибедняешься, Николай Прокофьевич! Ведь все же знают, что замысел и конструкция принадлежат тебе, что тебя все время была лихорадка. Знаем также, какие вы закадычные друзья с Петром Ивановичем. Лучше начинай-ка работу — доставь нам удовольствие.

А я все еще не мог успокоиться:

— Я вовсе не желаю, товарищи, чтобы Петр Иванович из ложной скромности преуменьшал свою роль...

Петя опять засмеялся.

Все подошли близко к станку и стали пристально наблюдать за нашей установкой аппарата. Я включил мотор, и диск начал медленно вращаться. Я вставил в гнездо деталь, затем — другую и так — по мере вращения диска — детали вставлялись в очередные гнезда, а первые детали обрабатывались набором фрезеров. Все молчали и пристально следили за движением маленького конвейера. Готовую сверкающую деталь я снял и передал Пете, а Петя — директору. Павел Павлович даже шапку задрал от удовольствия и, любуясь деталью, щелкал по ней пальцем.

— Хорошо, хорошо! Не придерешься.

Деталь пошла по рукам. Седов смотрел то на нее, то на меня и очень озабоченно размышлял над чем-то. Потом подошел к станку и несколько секунд наблюдал за работой конвейера и фрезеров. Рядом с ним встал и Павел Павлович, а Забываев даже низко наклонился над аппаратом.

— Сколько же ты думаешь дать за смену, Николай Прокофьевич? — быстро повернувшись ко мне и улыбаясь, спросил Седов.

Все сгрудились вокруг нас с Петей и с нетерпеливым ожиданием следили за нашими лицами. Мы обменялись взглядом с Петей, и он с иронической скромностью потупился.

Я не сдержал счастливой улыбки, но ответил деловым тоном:

— Мы тут прикидывали с Петром Ивановичем... Думаю, что норм сорок дать можно...

Седов пытливо оглядел меня, а Павел Павлович весело рассмеялся и размашисто написал пальцем в воздухе цифру «40». Седов громче, чем нужно, объявил, точно никто не слышал моего ответа:

— Товарищи, Николай Прокофьич обещает снять за смену сорок норм. Похлопаем ему?

Меня оглушили аплодисменты. Забываев хлопал особенно старательно. Я остановил мотор. Седов обнял и поцеловал меня.

— Николай, дорогой! Ведь то, что ты сделал, — замечательно. Этого же нигде нет в мире. Ах, ты милый мой друг!..

И сейчас же бросился к Пете.

— Спасибо, Петруша! Ты знаешь, как мы любим тебя и как ты нам дорог...

И совсем неожиданно, с юношеской теплотой, распахнулся:

— Ведь оба они — мои товарищи детства и молодости: вместе росли, вместе учились, вместе познавали мир... И отцы наши были друзьями и товарищами по борьбе...

И в эту минуту он опять стал прежним Алешей, простым и скромным парнем, с горячими глазами, которые смущали девушек. Вспыхнули в памяти наши домашние вечера, споры, гулянье на островах, катанье по Неве... Родная Нева, прекрасная река моей жизни!..

Павел Павлович положил деталь на стол, вынул платок, сорвал шапку и вытер лоб. Всмотриваясь в меня лукавой прищуркой и покачивая головой, он хотел спрятать платок, но спохватился и вытер глаза.

— Крепкая голова, драгоценная, Николай Прокофьич! Теперь я, как никогда, уверен, что знамя Комитета Оборона — за нами... На этих днях лечу в Москву и доложу о наших чудесах.

И мне и Пете он крепко пожал руки. А Петя смотрел и на него, и на Седова недоумевающими глазами и смущенно бормотал:

— Напрасно вы, честное слово... Чем же я-то виноват в этом событии?

В тот же день я опять стал на сталинскую вахту. Когда я настраивал станок, около меня собралась толпа рабочих. Вася толкался у станка и ласковыми пальцами трогал и

гладил все части аппарата. Яков и Митя не подходили близко, а молча смотрели издали с благоговейным уважением. Чертаков, который стоял на этой детали, все время смущенно посмеивался.

А перед самым пуском станка он, потный и растерянный, спросил хмуро:

— Сколько же ты, Шаронов, выжмешь из этой черепахи?

Вася насмешливо поправил его:

— Это, брат, не черепаха, а многоголовая гидра. Всю твою сменную продукцию схапает одним глотком.

Но Чертаков оттолкнул его и со злой настойчивостью переспросил:

— Я спрашиваю, сколько ты выжмешь за смену, Шаронов?

Я дружески улыбнулся ему и скромно ответил:

— Сорок норм, родной. А может быть, и все пятьдесят.

— Верю. Шаронов не врет. Значит, эта гидра будет и у меня.

Он обвел всех торжествующим взглядом, щелкнул пальцами и, решительно расталкивая людей, пошел на свое место.

Вася подмигнул ему вслед и покрутил пальцем у сердца.

Толпа разошлась неохотно. Кое-кто подходил ко мне и пожимал руку.

— С добрым почином, Николай Прокофьич!.. Самой тебе максимальной удачи!..

Я не буду рассказывать, как провел я свою вахту: повторилось почти то же самое, как и на вахте с первым приспособлением. Конвейер работал почти автоматически, только приходилось внимательно следить за подачей подделок да снимать готовые детали. На станке могли работать даже подростки. Приходил Седов с бессонными глазами, приходил директор, и оба смотрели на мою работу с тревогой и волнением. Я знал, что их тревога и волнение не оттого, что они опасались за успех дела, а от нетерпеливого ожидания результатов моей работы. Посетил меня даже и главинж Владимир Евгеньевич. Он молча и как будто равнодушно постоял около меня и, уходя, сухо сообщил:

— Мы рассматриваем это, как большое событие на заводе, товарищ Шаронов. Вы и Полинцев достойны самой высокой награды.

XVIII

Вася и Яков переживали в эти дни горячку: оба они старались перещеголять друг друга в усовершенствованиях своих станков. Яков все время громко разговаривал с фрезерами и с инструментами. К его оживленной беседе с механизмами и вещами привыкли, но иногда посмеивались, слушая его разговор, а Вася громко подтрунивал над ним:

— Тебе бы, Яша, нянькой надо быть... ну, в детсаде, что ли. Зря пропадает талант. Ты хоть рассказал бы нам, о чем поют тебе твои приспособления...

Но Яков не обращал на него внимания, да едва ли и слышал его голос. Во время работы он забывал обо всем. Среди гула и рокота машин я иногда ловил его говорок:

— Ну-ну, братишка, забирай!.. Покрепче, посмелее!.. Ага, дрожишь, робеешь, стервец!.. Ничего, привыкнешь... А ты не суйся, пятерня, когда нет нужды!.. И ты не злись... не фыркай и не плюйся! Ишь, разбушевался, зубастый!.. За ритмом следи, Яков Федорыч!..

И его голос звучал и строго, и нежно, и ласково, и сердито.

Большим событием для завода была телеграмма товарища Сталина. Он благодарил нас за выпуск боевых машин сверх плана, поздравлял с победой и призывал к еще большему напряжению сил для помощи фронту. Эта телеграмма вождя была в ответ на рапорт завода о перевыполнении программы. Во всех цехах происходили стихийные митинги.

К нам пришел Алеша Седов и прочел телеграмму в мегафон. По всему пространству цеха гремел взволнованный голос Седова, а в ответ шквалами забушевали аплодисменты. Как-то само собой случилось, что часть рабочих хлынула к Алеше, а со всех сторон и близко и далеко надсадно закричали голоса. Они что-то требовали, но я не мог понять, в чем дело. У молодых и пожилых рабочих, которые подбегали к Седову, горели глаза, а лица были бледные. Все нетерпеливо поднимали руки и требовали слова. В это время около Седова очутился Вася и поднял обе руки. Похудевший от волнения, он крикнул, подчеркивая каждое слово:

— Товарищи, вы все сейчас готовы дать разные обязательства, и обязательства эти выполните, конечно. Но у нас у всех есть одно общее обязательство. Не будем терять времени: оно дорого для нас. Предлагаю прервать работу ровно на пять минут и дать торжественную клятву товарищу Сталину...

Как морской прибой, загремели аплодисменты и дружные голоса:

— Клятву, клятву!.. По местам!.. К станкам, товарищи!..

Седов взмахивал рукой и говорил что-то, но его не слушали. Все побежали обратно к своим станкам, махая руками и перекликаясь. Вася подошел ко мне и схватил меня за плечо.

— Пиши текст клятвы, Коля! Живо! Несколько строк — не больше... Но чтобы крепко и ударно.

Алеша стоял в стороне, встревоженный, смущенно улыбаясь. Таким я его видел очень редко. К нему торопливо подошел Петя и спросил у него что-то. Алеша подал ему телеграмму.

Я быстро написал карандашом две-три строки и остановился: слова горели в мозгу, но не могли вырваться на бумагу — их было много, они толпились, ослепляли, обжигали меня... Вася наклонялся над бумажкой, нетерпеливо читал написанные строки и сам бессильно путался в трудных, цветистых словах.

— Ну, пиши же наконец, Колька! Ты же литератор... Время-то не ждет...

У меня дрожали руки, и я леденел от отчаяния, что нужных слов не нахожу в этот решительный момент. К нам присоединился Петя и вдруг спокойно подсказал эти большие слова.

Шум моторов и грохот металла, хрипенье электродов электросварки и говор людей стали быстро потухать, и тишина, как огромная тень, начала надвигаться на нас со всех сторон. Большая толпа в несколько секунд окружила нас плотной стеной. Парни, девушки, пожилые рабочие и даже ребятишки смотрели на нас с пристальной готовностью. Слышно было только, как капала где-то вода, как осторожно переступали люди с ноги на ногу. В этом безмолвии было что-то огромное — какая-то непередаваемая сила. Кто-то закашлял, кто-то неосторожно перекинулся словами с соседом, засмеялся какой-то парнишка. На них

зашикали. Я ощутил что-то вроде дрожи во всем теле. Вася выдвинулся вперед и сказал вздрагивающим голосом:

— Товарищи, принесем клятву... Пусть наш уважаемый товарищ... товарищ Шаронов... будет говорить слова этой клятвы, а мы каждый повторим ее слово в слово...

Все в безмолвии устремили на меня глаза, и я увидел в этих истовых и строгих лицах (даже мальчишки ежились в ознобе) трепет от ощущения необыкновенного события. Я снял кепку, и все в тот же момент обнажили головы. Дрожащей рукой я поднял бумажку и, задыхаясь, произнес первое слово:

— Клянусь...

И все гулко и разноголосо повторили:

— Клянусь...

И это слово пронеслось по цеху волною откликов.

Я произнес дальше:

— ...все свои силы... не жалея себя... полностью отдать... напряженной работе... на вооружение Красной Армии... для скорейшего разгрома... кровавого врага...

Глухой многолюдный хор голосов сотрясал воздух и раскатывался по цеху. Казалось, что и станки, и нагромождения металла, и штабели пушечных стволов, и пронзительные огни электрических лампочек напряженно вслушивались в каждое слово и повторяли его вместе с людьми. Душа наполнялась восторгом и огромной верой в свои силы, и с каждым вздохом грудь дрожала от порыва совершать что-то большое. И я видел, что все, от подростка до старика, переживали то же самое. В эти короткие минуты они забыли о всех своих личных заботах, о своих семьях, о том, чем жили они за пределами завода и своего цеха.

— ...Клянусь... ежедневно, ежечасно, без устали... увеличивать во много раз... выработку оружия и боевых машин... бороться за новые методы труда... помогать отстающим... Клянусь... быть таким же беззаветным воином в тылу... как самоотверженный боец... на поле сражения... в беспощадной борьбе с врагами...

Я кончил и, не отрываясь, всматривался в лица людей: они были торжественно-строгие, озаренные внутренним светом. Сейчас все мы были готовы без раздумья броситься на любую борьбу, на любые жертвы и, не жалея жизни, совершать любые подвиги.

Вася взмахнул рукой и с улыбкой крикнул:

— А теперь к станкам, товарищи! Пожелаем друг другу успехов... Пусть горит эта клятва в наших сердцах постоянно...

Все молчаливо, с сосредоточенными лицами стали расходиться по своим местам.

Через минуту цех опять запел моторами, залязгал металлом, и опять засверкали молнии и зазвонил колокол электрического крана.

Алеша и Петя ушли незаметно.

XIX

В госпитале меня с живым любопытством встретили раненые в стеганых куртках, с костылями, с палками, с забинтованными руками на повязках. Я оставил свой чемоданчик в раздевалке, снял пальто, и гостеприимные бойцы повели меня, стуча костылями, куда-то в глубь коридора. Ребята, должно быть, рады были свежему человеку и спрашивали меня, откуда я, к кому, почему — с чемоданом.

Навстречу нам шла вся в белом высокая сестра, чернобровая, с усиками, чем-то взволнованная.

— Вам Шаронова? — переспросила она, осматривая меня с тревожным раздумьем. — Не знаю уж как... Он недавно прибыл... Состояние у него не из важных... Без разрешения врача как-то... А впрочем...

Мы пошли по коридору и через вестибюль углубились в другой коридор. В конце его сестра отворила стеклянную дверь и первая вошла в палату. Комната была белая, светлая: в огромные окна било золотое солнце. Вдоль стен стояли кровати. Больные встретили нас без всякого любопытства. Они лежали не шевелясь, бледные, худые, изнуренные своими ранами. Сестра подошла к одной кровати направо и, беспокожно оглянувшись, приложила палец ко рту. В палате была тишина и сдержанное побряхтывание. Я стал рядом с сестрой и обомлел. На меня смотрели в упор, не моргая, глаза слепого. Лицо было незнакомое — багрово-красное, в рубцах и болячках. Что-то было общее с Игнашей, но это был не Игнаша. Он улыбнулся далекой улыбкой, но глаза были неживые.

— Сестрица, вы... привели кого-то?.. Кто это?.. Ну-ка, подождите, подождите...

И он протянул ко мне руку, сосредоточенно думая и при-

слушиваясь. Этот родной голос, который не угасал у меня в душе, потряс меня до того, что я не мог стоять на ногах. Я рванулся к его койке и упал на колени.

— Игнаша! родной мой!.. Я — здесь, у тебя... Милый, что же это с тобой?.. Ты не видишь меня?..

— Коля! Коленька!.. — крикнул он, как мальчик, и обхватил мою шею. — Братуша, радость моя!..

Мы смеялись, всхлипывали и не могли оторваться друг от друга.

— Игнаша, милый, ты не знаешь, что я пережил!.. Ведь я был убежден, что ты погиб... И не утешал себя надеждами. И вдруг — твоя телеграмма...

— Ох, все было, Коленька... чего только не было!.. И горел, и камнем летел вниз, и от немцев удирал, и слепой по лесам и полям рыскал... А вот живу, радуюсь...

— Но как же? Игнаша! С глазами-то как же? Неужели навсегда?..

И я опять услышал его жизнерадостный крик:

— Ничего, ничего, Коленька!.. Как-нибудь выберусь... Я от немцев удрал, от огня отбил, в лесу не замерз... а уж слепым-то не останусь... Нет, Коля, нет!.. Но... но пока... пока — тьма...

Сестра погладила по русым кудрям Игнашу и с воркующей нежностью в голосе сказала:

— Нет, вы обязательно... непременно будете видеть... Доктор убежден, что зрение скоро восстановится... Это — временно... Вы увидите весну, солнышко, цветы, нашу Волгу...

Она принесла стул и даже взяла меня подмышки, чтобы усадить рядом с Игнашей. Ее хорошие глаза, еще темные от слез, ободряюще улыбались. Губы у нее вспухли от волнения, как у девочки. Она опять погладила волосы Игнаши и той же ласковой рукой провела по моему плечу. Потом с сожалением оставила нас и склонилась над соседней кроватью.

— Но как же это случилось, Игнаша? Может быть, тебе нельзя говорить? Тогда не надо...

— Нет, почему же? Я ведь сейчас здоров, Коля... Только вот еще немного кровоточат ноги... пальцы отморозил... Ну, да ведь это — пустяки... А случилось просто: штурмовали скопления войск, эшелоны, аэродром... Ну и, конечно, схватка в воздухе... Это был очень горячий бой... Я сбил два самолета, но тут же и меня подсекли. Загорел-

ся бензобак... Ну, а это, знаешь, дело — дрянь: огнем охватило весь самолет. Я пошел в штопор. Ну, думаю, конец! Уже поджаривать меня стало... Потом разъярился: нет, думаю, еще поборюсь. Не знаю уж, каким чудом выправил машину и понесся к своим линиям. Вижу, не дотяну. Уже одежда стала дымить. А тут, кстати, лесок. Сумерки. Грохнулся я на одну полянку и даже удивился, как у меня это здорово вышло... Врезался в кусты. Машина ревет и стонет от огня — пылает забористо так, весело... Признаюсь: сгоряча и не почувствовал даже, как меня поджарило. Выскочил и — в кусты, в лес, во тьму. Слышу — позади выстрелы... Я — в сторону и — во все лопатки... Так я, как зверь, метался, запутывая следы. Снег, дремучие заросли... Потом с разбегу кувырнулся куда-то в пропасть: глубокий овраг. Он-то меня, пожалуй, и спас от немцев...

...По дну этого оврага Игнаша по пояс в снегу бежал с полверсты, скрываясь в мелколесьи, и очутился в долинке. Лесок там был пореже. Он вышел на санную дорогу и побежал по ней не вниз, а вверх: внизу, несомненно, была деревня, а там — немцы. Вверху рос густой лес. Он догадался бежать именно по дороге, а не по целине, чтобы погоня потеряла его следы. Сумерки здесь были гуще, а лесная заросль чернела ночью. Внезапно он увидел две дорожки, которые уходили развилкой вправо, в гору, в чащу леса от санного пути. Он вскарабкался по одной из этих дорожек наверх и прислушался. Верно: внизу — топот, голоса, выстрелы... Очень хорошо было слышно, как немцы побежали куда-то вниз, и голоса их и скрип снега под ногами замирали с каждой секундой. Игнаша опять побежал вперед и углубился в самую непроходимую чащу. И вдруг окутала его тьма, — такая тьма, какой еще никогда в жизни не знал. И он сразу понял, что — ослеп. Понял и весь похолодел. Такого ужаса и безнадежности он не испытал даже в тот момент, когда штопором летел вниз на горящей машине. Он упал в снег и застыл в отчаянии. Черная тьма без измерений, и он один в этой тьме, и нет никаких путей: всюду — бездонная пустота. Так пролежал он с ужасом в душе, должно быть, долго, потому что почувствовал, что стал замерзать. И тут он опять забунтовал: «Пока живой, пока голова на плечах, до последнего вздоха буду бороться за жизнь...»

Рассказывая, он держал мою руку и пожимал мне паль-

цы. Рука его исполосована была красными рубцами. Он улыбался, как улыбаются слепые — и самому себе и куда-то вдаль.

Он замолчал в задумчивом ожидании. Подчиняясь этой его молчаливой, мерцающей улыбке, я сам молчал и даже дышал сдержанно.

Не оборачиваясь ко мне, он спросил:

— Ну, а ты... ты, Коля, как жил?.. Как боролся? Ты расскажи... У тебя ведь сейчас богатая жизнь... Я тут слушал радио: у тебя какие-то большие победы...

— Но как же ты спасся, Игнаша? Ведь был в ловушке: и немцы кругом, и эта страшная тьма... Я не могу этого представить...

Он сконфуженно засмеялся, и этот смех был какой-то новый, едва слышный, смех про себя.

— Понимаешь, Коля... я как-то сам удивляюсь... Знаю, что ползу куда-то вперед, и знаю, что ползу туда, куда надо... У Фабра есть целое исследование об инстинкте направления у насекомых. Возможно, что и у меня в этот момент проснулся этот направляющий инстинкт. И другой инстинкт — инстинкт маскировки: при каждом подозрительном шорохе или когда мерещились голоса и шум, я мгновенно зарывался в снег и лежал без движения. Так я полз, вероятно, целые сутки. Я на расстоянии чувствовал открытое поле и забирался глубже в лес. Боль в ногах сначала была нестерпимая, а потом потухла. Понял, что пальцы отморозил. Руки я все время снегом растирал, хотя ожоги очень мучили меня. Наконец слышу: человек с собакой разговаривает. Не разберу: свой ли, враг ли. Вынул я револьвер — приготовился. Можешь представить, Коля, что я переживал в те минуты... Жду и готов и к жизни, и к смерти...

Он опять примолк, улыбаясь странной улыбкой. Потом засмеялся едва слышно, про себя.

— Бывают в жизни этакие мгновения... мгновения нечеловеческие... это — ужас... в лесу, когда ты — зверь в облаве. А человеческое, мое, — это когда воля моя побеждает всё, — воля, как сила моей идеи... И тогда — ни страха, ни ужаса... И вообще, Коля, в жизни ничего нет страшного, ничего... когда я — владыка самого себя, то есть, когда я охвачен сознанием и целью... хотя бы подо мною — бездна, а впереди, и вверху, назади — враги... Летчики — немного философы...

— Ну, так что же дальше, Игнаша? — с дрожью в голосе понудил я его, наклоняясь к его лицу. Ужас, который так просто передал Игнаша, схватил и меня за сердце. — Но может быть, тебе, милый, трудно рассказывать?.. Может быть, это тебя волнует?..

Рубцы и шрамы на лице задрожали и растаяли. Он улыбался.

— Честное слово, Коля, в жизни ужасное и смешное — неразделимы. Говорят: от трагического до смешного — один шаг. Нет, и трагическое и смешное — это одно и то же: с какой стороны посмотреть... Слышу: подбегает собака, обнюхивает меня, мечется, тьякает как-то пощеньчи — не то от радости, что нашла добычу, не то от нетерпенья, что хозяин опаздывает. То отбежит назад, то опять обнюхивает и храпит. Чую, бежит человек и тоже храпит. Я кричу ему: «Говори сразу — кто!» Человек остановился и спокойно, низким басом гудит: «Свой, свой, не бойся!..» Собака уже не лает, а повизгивает. Я не двигаюсь с места и настороженно спрашиваю: «А чем вы докажете, что — свой?» Он смеется и басит: «А ничем, как и вы. Однако я знаю, что вы — наш». — «Да меня, — говорю, — по обмундированию можно видеть, кто я». — «Ну, — говорит, — обмундирование — это липа: немцы тоже здорово умеют маскироваться под русских. А сейчас густая ночь: ни черта не видно». — «Ну, так вот, — говорю, — товарищ, я ослеп, горел вместе с самолетом, бежал от немцев... полз, кажется, целую вечность. Обморозился да и страшные ожоги. У меня — револьвер, но пока я вам его не отдам... для всякого случая». Он опять смеется. «Что ж, — говорит, — пожалуйста, не отдавайте. У меня у самого — автомат и гранаты». — «А вы — кто?» — спрашиваю. «А тут, — говорит, — недалеко — партизаны. Я — из отряда. В разведке. Совсем рядышком, — говорит, — у нас избашка. Услышали, что собака забеспокоилась, ну и пошли за ней. Только собака у нас ученая: на немцев не лает, молчком ведет. А ежели русского чует — кричит и танцует. А теперь давайте руку — и я поведу вас к себе в гости: и перевязочку сделаем, и накормим, и поухаживаем, а потом видно будет». Вот тебе, Коленька, и повесть о моих блужданиях между жизнью и смертью...

— Ну, а где ты узнал, Игнаша, что ты — Герой Советского Союза?

— Да, да... Так это — правда?.. Колька!.. Мне вче-

ра комиссар сказал, да я как-то... не совсем поверил... Сестрица, Лида! Где же газета?..

Он сел на кровати, сбросил с себя одеяло и спустил забинтованные ноги на пол. Лицо его стало сизым от прилива крови, и глаза его вдруг вспыхнули, как у зрячего.

— Подожди, Коленька!.. Даже искры в глазах.

Он заметался, схватился за голову, упал на подушку, потом опять вскочил, засмеялся, и глаза его залились слезами.

Я обнял его и, целуя, уложил на кровать.

— Успокойся, родной! Конечно, ты будешь видеть.. ты успокойся! Полежи, отдохни...

К нам подбежала сестра и вынула из кармана газету.

— Вот, вот, Игнатий Прокофьич!.. И портрет ваш здесь...

Игнаша схватил газету и пощупал ее пальцами.

— В каком месте?.. Положите мою руку!.. Вот здесь?.. Прочти, Коля!..

Я прочел ему текст указа, а он, потрясенный, смотрел куда-то вдаль и смеялся.

— Это... это — большое счастье... Колька, понимаешь ли ты, какое это счастье?.. Лида, сестра! Мне кажется, что в глазах у меня радужные вихри... Пусть это воспоминание об угасшем свете... но это — реальность.

Сестра склонилась над ним, поправила его волосы и стала ласково успокаивать его. Игнаша взял ее руку и положил к себе на грудь.

— Вот и хорошо, что вы — счастливы, Игнатий Прокофьич. Я так рада!..

— Видишь, Коленька, какая она славная? Вот она положила мне руку на грудь, и я чувствую, как струится из этой милой ее руки нежная теплота...

Сестра мигнула мне, что нужно оставить его одного. Я положил руку на его волосы и сказал ему тихо, как ребенку, что приду к нему завтра, а теперь мне надо хлопотать о пристанище.

— Иди, иди, дорогой, конечно!.. — встревожился он и протянул мне руки.

Я ушел от него в слезах и слез своих не стыдился. На меня смотрели раненые без всякого удивления и провожали, дружески улыбаясь.

В этот день мне не удалось увидеть начальника госпиталя — врача, чтобы поговорить с ним об Игнаше: он был занят какими-то сложными операциями. Я зашел к комиссару. Встретил меня чисто выбритый молодой капитан и гостеприимно угостил кофе с молоком и с белой булочкой. Бледное суховатое лицо его с тонким носом и огромными очками все время улыбалось. Он участливо поинтересовался, где я устроился, надолго ли приехал к брату, не может ли он чем-нибудь помочь мне. Держал он себя как-то беспокойно: то вставал со стула, то садился и все время что-то искал по карманам.

— Скажите, — спросил я его: — почему вы только вчера сообщили брату о том, что он — Герой Советского Союза?

Он изумленно поднял брови, потом пошевелил ими озадаченно и, наконец, сдвинул их в раздумьи.

— Видите ли, какая штука... С одной стороны, можно ли удержать в памяти огромное количество награжденных, с другой — он доставлен в тяжелом состоянии. Кроме того, он и сам мог знать об этом. Просматривая комплекты газет, мы натолкнулись на его фамилию. Я поздравил его, но он — представьте! — не поверил: вероятно, подумал, что — шутка. Потребовал газеты.

— А долго вы думаете держать его в госпитале?

— Ну, это неизвестно. Полежит. До лета, думаю, продержим его здесь. Возня с ногами. Плеврит.

— А зрение?

Комиссар надавил бровями на глаза, и улыбка стала у него недовольной и неискренней.

— Это — не в моей компетенции. Побеседуйте с начальником госпиталя: он — в курсе дела.

Он встал и взглянул на часы.

— Завтрачка зайдите к нему эдак вечером. Он — человек резковатый, но прямой. Я постараюсь предупредить его сегодня.

Он задал мне несколько вопросов о моей работе и сказал, вздыхая:

— Вот и у нас... Тяжелые, очень тяжелые обязанности... Здесь человек как будто весь оголен: сколько страданий и трагедий!.. и сколько великих душ... простых и незаметных для многих!.. Ваш брат — один из них... один из тех, кто не замечает своего величия...

На другой день утром, когда я вошел в палату, Игнаша в голубом халате и туфлях, которые едва держались на забинтованных ногах, стоял около своей койки у двери, как будто пытался выйти в коридор. Он улыбался прежней ласковой улыбкой, но в глазах его трепетал радостно-детский восторг и сосредоточенное напряжение.

Кто-то из больных предупредил его:

— Шаронов, брат пришел...

Но он уже протягивал навстречу мне руку и крикнул:

— Я знаю... Я еще издали почувствовал... Мне кажется, Коля, что я вижу твою тень...

Мы поцеловались.

— Ну, как себя чувствуешь, Игнаша?

— Хорошо, Коля, превосходно!.. — Он засмеялся. — Ты понимаешь, я вижу, как туманятся окна... Рассвет, братуха, рассвет!.. Но придет и настоящий день... А я вот хожу... самостоятельно: прошел к окну, на его голубую зарю, а потом — сюда, к двери. Там — свет, как облако, а тут — тьма. Замечательно!.. Возьми меня под руки, и мы с тобой пройдемся по коридору... Как мне надоело лежать!.. Тоскую по самолету, по товарищам... Ты им сейчас напиши от меня письмишко... Буду опять летать, Коля... опять летать... О, я еще покажу этим немецким разбойникам... я им сумею отомстить... страшно отомщу за эти три месяца...

Мы вышли в коридор и медленно зашагали в сумеречную его даль. Он сжимал мою руку, и я чувствовал, как струится с его пальцев нервная дрожь: он был счастлив, что я был около него, и эта трепетная теплота лучше всяких слов говорила о его любви ко мне. А у меня подступала судорожная спазма к горлу, и я долго не мог произнести ни слова. Он это чувствовал и крепче прижимал к себе мою руку.

— Ты мне расскажи, Коля, как ты боролся и побеждал. Я ведь очень горжусь тобою... Я знал заранее, что ты сделаешь что-то замечательное — не мог не сделать... Помнишь, как наш старик хвастался: «Шароновы — все с талантами»?.. Для него мерило таланта — любовь к труду.

— Это при тебе еще он танки под огнем ремонтировал, Игнаша?

— О, папашка не сдаст! Ты ведь знаешь его: умрет он в цеху, а не дома. Доблестно умрет. Пройдем с тобой в красный уголок: это — здесь, где-то в конце коридора. Ты мне прочтешь письмо Лизы. А пока расскажи, как вы завоевывали уральские дебри...

Я коротко рассказал ему о том, как мы сопровождали наш эшелон, как нас бомбили, как погибла дочка Пети, как заболела Наташа, как монтировали завод и как я оснащал свой станок.

— Славный Петя! — вздохнул Игнаша и крепко сжал мои пальцы. — Ты его не оставляй, Коля... Ведь этот удар — на всю жизнь.

Навстречу нам прыгали на костылях молодые ребята. Они оживленно разговаривали, шутили, смеялись.

Мы вошли в светлую комнату, с длинным столом посредине, на котором рядом стояли цветы в плошках. Игнаша опять заликовал:

— Понимаешь, этот рассвет... такой голубой разлив...

В комнате сидел, закрываясь газетой, больной в халате. Он так углубился в чтение, что не обратил на нас внимания. Но, когда мы сели к столу, дверь открылась, и сестра Лида, приветственно улыбнувшись мне, вызвала из комнаты раненого.

— Скоро... очень скоро, Коля, я опять взовьюсь в небеса... Я приеду к тебе на завод и опять увижу тебя, Петю, Алешу, ленинградцев... Вы приготовьте мне добротный самолет...

— Обязательно приготовим, Игнаша... Специально для тебя приготовим...

— Ну, вот и хорошо! Я поведу его прямо в Ленинград... Я ворвусь к Лизе и крикну: вот и я, Лиза! Горел и возродился, как феникс из пепла!

— Она, Игнаша, придет сюда, ко мне: я поторопил ее молнией.

Он отшатнулся от меня и взмахом руки отшиб мои слова:

— Лиза? Сюда? Из Ленинграда?.. Колька, да ты с ума сошел... Теперь? В эти дни?.. За кого ж ты ее принимаешь?..

Но вдруг запнулся и замолк: должно быть, почувствовал, как я вздрогнул от его слов. Мне было больно слушать его, но что я мог возразить против правды? Ведь в письмах своих Лиза не обронила ни одного намека на

желание приехать ко мне. Наоборот, каждая строка ее писем звенела гордостью за Ленинград, за людей родного города, за себя. Она тоскует обо мне, ей хочется чувствовать себя рядом со мною, но у нее и в мыслях не было оставить израненный город ради меня. И я только в этот миг понял, как я был слеп, мечтая о скором ее приезде. Лиза не ответила на телеграммы, не ответит и на письма. Конечно, Ленинград — это личная ее судьба, это вопрос жизни и смерти. Разве она может вырвать себя из него? Ведь и я, и Игнаша, и мои старики, и все те, кто борется там, — это душа великого города. Я поступил бы так же, как и Лиза. Я дрался бы там и в окопах, и в цехе со всем пылом моего сердца.

Игнаша погладил меня по плечу и смущенно проговорил:

— Ты извини меня, Коля... Я огорчил тебя... Но, милый братуха, я был бы счастлив, если бы сложилось так, как ты хочешь.

Я поспешил успокоить его:

— Не волнуйся, Игнаша... Конечно, Лиза не уедет из Ленинграда. Будем каждый бороться на своих позициях. Он схватил мою руку и сжал до боли.

— Да, да, Коля... пусть больно, но будем бороться, как велит необходимость... В этом — наш долг и наше счастье... А я... нет, я не спроста остался жить: я нужен родине, и она охранила меня от гибели... У меня отморожены пальцы на ногах, но они заживают, лицо обожжено и обморожено, но это сойдет, как дым... А самое главное, Коля, — это рассвет в глазах... Если бы ты знал, как я счастлив! Скоро я увижу солнце... Я приеду к тебе на завод и сам поведу свеженький штурмовик... Орлом прилечу на свой аэродром... и обниму всех своих товарищей...

— Я буду ждать тебя, Игнаша, с нетерпением... — сказал я, заражаясь его счастьем. — Ты знаешь, какой это для нас будет праздник!.. Машина тебе обеспечена.

Он бросился мне на шею и засмеялся.

— Как мы с тобой говорим, Коля!.. Какие у нас праздничные слова!.. Горячая мечта и вера всегда поднимают выше обыденной жизни... А теперь пиши, Коленька, моим друзьям...

И он продиктовал мне короткое письмо, но такое же горячее, как и его слова.

Мы опять пошли с ним по коридорам к его палате. Шагал он осторожно: должно быть, раны на ногах не зажили, но шел не так, как ходят слепые: он не опирался на мою руку (у слепых даже и руки слепые — тяжелые), он сам направлялся к далекому сиянию окна и повторял с наивным удивлением:

— Ведь это там окно?.. Понимаешь, как волны... такие странные, голубые и оранжевые... Как хочется, чтобы эти волны прошли... чтобы этот туман рассеялся!..

Он остановился и тревожно спросил:

— Но когда же ты уезжаешь от меня, Коля?

Я осторожно и с сожалением ответил:

— Мне, Игнаша, надо возвращаться. Ты знаешь, что у меня не должно быть прогулов...— и пошутил: — Надо ехать, чтобы приготовить тебе отличный самолет..

— Да, да, поезжай, Коля! Ты — на поле боя... Мне тяжело сейчас расставаться с тобой, но самолет, самолет!.. Я буду мечтать о нем и о тебе каждый день...

Днем я съездил на аэродром. Бравый начальник, предупрежденный Павлом Павловичем, принял меня, как знакомого. Кряхтя и поживаясь, он сердито посмотрел на меня из-под козырька фуражки и подумал над чем-то, постукивая пальцами по столу.

— Хорошо. Выкрою для вас место. Полетите.

И быстро выбежал из комнаты.

Вечером седовласый врач, с жидкой бородкой, с колючими серыми глазами, встретил меня в своем кабинете молча, только ткнул карандашом в сторону стула. Около него, у стола, стояла пожилая полная сестра с обвислыми щеками. Он сердито написал что-то на бланке, сунул ей еще несколько бумажек и вопросительно вскинул на меня остренький взгляд.

— Я — брат раненого летчика Шаронова,— начал я.— Мне хотелось бы побеседовать с вами...

Он бесцеремонно перебил меня:

— Да, хотите узнать, будет ли он видеть...

Он замолчал, опустил глаза на свои волосатые руки, подумал немного и грубовато сказал:

— Повезло ему здорово: огромного духа человек. На его месте другой сюда не добрался бы. Была гангрена на ногах — сбили. Ожоги тела — исцелился. А теперь — глаза.

— Вы знаете, доктор, — нетерпеливо перебил я его и даже встал от возбуждения: — вы знаете, что он видит?

Он показал мне рукою на стул и с простецкой фамильярностью оборвал меня:

— Сядьте, пожалуйста! Видит... пока еще ничего не видит...

— Но он видит мутное пятно окна и даже идет на него. Это же — не галлюцинация?

Он опять воткнул в меня свои колючие глаза.

— А кто вам говорит, что галлюцинация? Я говорю только, что затяжное дело. С одной стороны — контузия. Это — временное. С другой — ожоги. Это — скверно.

— Но вы мне скажите, доктор, только одно слово: будет он видеть или нет?

У него подобрели глаза, и он ответил мягко и задумчиво:

— Будем надеяться, будем надеяться...

И сердито посоветовал мне:

— Больше к нему не заходите, а то испортите всю музыку. Такие люди, как он, — очень чутки.

— Я уже простился с ним, доктор.

— Вот и отлично. Могучий организм... удивительная сила воли!..

Я вышел от него очень встревоженный. А ночью, на аэродроме, я бродил по поселку до изнеможения, возвращался в комнату для отдыха, ложился, опять вскакивал и снова выбегал на улицу. Игнаша преследовал меня своей улыбкой слепого.

XXI

Утро было яркое, прозрачное, солнечное. Как-то странно и непривычно колыхалась в воздушной бездне белая земля, уплывали, мерцающая, кучи домов, уродливо скособоченных, и заводские корпуса, такие же карликовые, как на рельефном плане. Не успел я осмотреться, как город вдруг исчез и мы очутились над пустынными дебрями лесов. Мне показалось, что мы стремительно падаем вниз, потому что голые леса и черно-сизые шапки сосен быстро приближались к нам и сугробы снега волнами плыли под самолетом. Потом сразу же и снег и леса ушли в глубину, и мне чудилось, что мы бурным порывом взмываем в высь. И я тут же понял, что самолет летит ровно,

по прямой воздушной линии, а холмы то поднимались своими склонами, то опускались в долины. Пропеллеры ревели ураганом, до щекотки в ушах, и самолет дрожал струнной дрожью.

В самолете сидело человек двенадцать — больше военные, молодые командиры. Кресел на левой стороне не было: там один на другом стояли маленькие ящики, по середине тоже, были ящики — длинные и большие. На них сидели командиры, а в креслах направо уютно устроились работники наркоматов. Экипаж в пять человек находился в кабине летчика, и, когда отворялась дверь и оттуда выходили молодые ребята в мешковатых синих комбинезонах и очкастых шлемах, я видел спину пилота в кожаном пальто. Командиры сидели по-двое, по-трое и, жестикулируя, оживленно разговаривали и смеялись, но ни смеха, ни разговора их не было слышно. В окно видно было серо-зеленое крыло в рваных дырках, пробитое, должно быть, осколками зенитных снарядов. Я не отрываясь смотрел в окно и видел плывущие и колыхающиеся взгорья, покрытые снегом и густой зарослью лесов. Они казались коричнево-сизыми кустарниками. Когда горбы холмов приближались к самолету, совсем рядом тянулись к нам стройные березы с отчетливо разрисованной белой корой. Ощущение страшной высоты вызывало в сердце тоскливое замирание, странную боль в голове. Часто тошнотная судорога сжимала внутренности, и хотелось невольно стонать и улыбаться. Эта улыбка была, вероятно, конфузливо-жалкой и покорной. Молодые командиры чувствовали себя превосходно: видно было, что они возбуждены и им хотелось петь песни. Двое из них, более пожилые и почему-то сердитые, играли в шахматы. Наблюдая за ними, я заметил широкое отверстие в крыше, из которого падал яркий свет. Я поднялся со своего сидения и посмотрел вверх: там был просторный стеклянный колпак, и в светлом гнезде — пулемет с задраным дулом.

Мимо начали проноситься клочья тумана. Мы разрезали их, ныряли в их пушисто-белую муть и опять вылетали в солнечно-голубой простор. Потом туман стал налетать сплошными шквалами, и крылья самолета исчезали из глаз. Окно неощутимо сливалось с непроглядно-серой тьмой. Тошнотное замирание внутри стало чаще и мучительнее. Уже ясно чувствовал я, как самолет стремительно падал в пропасть, и я инстинктивно хватался за ручки

кресла и закрывал глаза. Секунды через две он упруго вздрагивал, шарахался в сторону, тревожно рывкал, и я вдавливался в кресло: должно быть, он поднимался в высь. И вдруг опять сияло солнце, и недалеко внизу сплошными сугробами, лохматой пучиной плыли облака. Это было сплошное золотое море, которое бушевало без конца и края. Небо вверху было голубое и ласковое. Синяя тень нашего самолета со страшной быстротой скользила по кудрявым волнам блистающего моря облаков — изгибалась, прыгала, ломалась, взмахивала крылами, как чудовищная птица. Словно зачарованный, смотрел я на этот необъятный океан, пылающий ослепительным пламенем.

Так летели мы долго, и я незаметно задремал, утомленный клочущим сиянием внизу и гнетущим ревом пропеллеров. Я уселся глубже в кресло, вытянул ноги и прислонил голову к стенке.

Родные призраки проносятся передо мною... Лиза смотрит на меня скорбно-суровым лицом, и на этом бледно-исхудалом лице — огромные глаза... Она улыбается мне и настойчиво повторяет какое-то слово, которое я не слышу... А Игнаша, весь прежний, ленинградский, смеется и кричит: «Я увижу солнце!.. Я полечу навстречу солнцу!..» И сердце мое сжимает тоска. «Будем надеяться, будем надеяться...» — сказал врач, и нельзя было понять по его подобрешей усмешке — утешал он меня без уверенности в исцеление Игнаши или сам был убежден, что глаза Игнаши прозреют, но из осторожности отвечал и мне, и себе неопределенными словами: «Могучий организм... огромная сила воли!..» Может быть, он давал мне понять, что надежда только на необыкновенную волю к жизни у Игнаши?.. Обрывки мыслей, отдельные слова вспыхивают, поют, переплетаются, тухнут, опять возникают и тревожат сердце. Игнаша протягивает ко мне руки в шрамах, с сухой кожей, мерцающей, как молочная пленка, и улыбается самому себе и куда-то вдаль. Сейчас он, может быть, бродит по палате и тянется к туманному рассвету... Он мечтает о близких днях, о солнце, о полетах... И во сне и наяву он будет жить верой в близкое счастье ослепительного воскресения. Дорогие существа оторваны от меня... Может быть, навсегда?.. Они кричат мне из осажденного города, протягивают руки и требуют: мсти! От тебя зависит счастье нашего освобождения... Да, только мстить... всего себя воплотить в испепеляющей мести...

Силы моей Лизы и моего старика слабеют. Я должен быть впереди, как гроза и защита... Лиза сурово борется на своем посту. Ей не страшны бомбежки и ежедневные обстрелы города. Она видит смерть на каждом шагу, смерть подстерегает ее всюду, но если бы пришлось ей погибнуть, она гордо и смело пошла бы навстречу гибели, как воин, как хорошая русская женщина, потому что в душе ее — огромная любовь... Ленинград — это отчизна, это — свет ее жизни, это — я, это — будущее... Но почему у меня так мучительно на душе? Почему такая смута в мыслях? Почему мне так тягостно?..

Я вздрагиваю и открываю глаза. Самолет падает, судорожно трепещет и бросается из стороны в сторону. За окном — непроглядная серая муть. Мне кажется, что мы летим уже несколько часов. Молодые командиры уже не разговаривают, не смеются: они обмякли, погрузнели и скучно смотрят в окна. Кое-кто из них скорчился на ящике и изнуренно дремлет.

В разрывах тумана я вижу коричневые обрывы, черные пятна льда на какой-то большой реке. Вихрями и шквалами бушует снегопад. На земле, очевидно, буран. Но видение мгновенно исчезает, и опять мы в сплошной седой мгле без измерений. Самолет делает крутой вираж: я это чувствую болезненно. К голове приливает кровь, и в висках — тяжелая боль. Ураган бросает машину и она кряхтит и прыгает.

Болтанка обессиливает меня, и я опять погружаюсь в бредовый полусон. И опять мелькают видения, опять сумбурно звучат слова и оборванные мысли. Время от времени я прихожу в себя. Белый ураган хлещет в окно, точно мы погружены в пучину молочного моря. Иногда эта белая мгла разрывается, и в бездне, среди вихрей снега, виднеется гора, покрытая лесом, или овражистые берега какой-то реки. Сколько же времени мы будем блуждать в этой буранной пустыне?..

Сознание туманилось, и я забывался. В таком полубморочном состоянии я находился как будто несколько минут, но, очнувшись, я взглянул на часы и испугался: мы болтались в снежном урагане уже около шести часов. Белая мгла померкла и стала серо-голубой. Через час день угаснет, и мы погрузимся в ночь.

Тревога охватила всех пассажиров. Двое штатских молодых людей встали со своих мест и, шатаясь, подошли

к командирам. Со страхом в глазах что-то кричали им и размахивали руками. Командиры, переглядываясь, усмехались. Штатские, пожимая плечами, панически шагали обратно. Седой полный человек обернулся ко мне, и в заплывших его глазах заискрилась насмешка: вот, мол, попали в переделку!.. Как, мол, вы себя чувствуете, гражданин?.. Один из пожилых командиров, с ожесточенно-холодным лицом, точно взбираясь по наклонной плоскости, трудным шагом прошел к кабине экипажа и, уверенно распахнув дверь, скрылся за нею. Все проводили его глазами и не отрываясь смотрели на дверь в напряженном ожидании. Седой человек опять обернулся ко мне, лукаво подмигнул и закивал на окно. Я сделал вид, что совсем не интересуюсь его настроением, и закрыл глаза. Сквозь рев пропеллеров я услышал, как хлопнула дверь и вместе с командиром вошел усатый и краснолицый летчик с выпуклыми глазами. Многие вскочили с мест и бросились к нему. Он остановился, сердито сдвинул густые брови и приказал руками сесть всем на места. Покрывая гул пропеллеров, он крикнул зычным баритоном, но голос его доносился как будто издали:

— Не волнуйтесь, товарищи! Сидите спокойно! Я бывал и не в таких переделках...

И улыбнулся, показав два широких резца из-под густых усов. Он прокричал что-то еще, но я не разобрал его слов.

Такого состояния я не переживал ни на войне, когда водил свой танк в атаку на финнов под ураганным огнем, ни во время бомбежки нашего эшелона. Тогда я был одной из действующих сил и от меня зависел успех и наших атак, и спасение заводского оборудования. Теперь же я чувствовал что-то вроде обреченности: я был беспомощен, прикован к месту. Моя жизнь зависела от летчика, а жизнь летчика — от погоды, от бензобака, от тысячи неожиданных и неустрашимых случайностей. Мы блуждали в непроглядном сумраке пурги, не зная, где находимся, не зная, что в бездне, под самолетом, — там, может быть, горы, леса, гранитные скалы, а может быть, и желанные поля... Стекла заливались молочно-грязной мутью, и мы ничтожной пылинкой носились в этом седом урагане. Даже плоскостей самолета не было видно. Мне чудилось, что пройдет несколько мгновений, и мы, не замечая падения, врежемся в землю или разлетимся в брызги на

каменных нагромождениях. Погибнуть бесславно, бессмысленно, прервать мою борьбу... мою боевую работу, в которой сейчас весь смысл моей жизни... Я сделал еще так мало... Оборвать ее в тот момент, когда она только еще начинает разгораться. Выйти из боя, когда борьба широким размахом идет по всему фронту. А Лиза, а моя родная Лиза с Лавриком... Разве она вынесет этот удар?..

На мгновение я ощутил стремительное падение вниз. Мне стало дурно, я закрыл глаза. Самолет задрожал и запрыгал в судорожных порывах. Я услышал крики людей, глухие и далекие, и общую суматоху. С усилием я открыл глаза и увидел, как военные устремились к окнам. Даже толстяк прилипал лицом к стеклу и жадно всматривался вниз. Черная полынья, как бездонная пропасть, неслась на нас с жуткой быстротой, все шире и шире разевая свою пасть. Она мгновенно поглотила нас, и мы сразу же очутились в прозрачном синем воздухе со снежными далями полей и холмов.

Когда я очухался и прилип к окну, совсем близко бурной метелью неслись талые пашни и задворки какой-то деревушки. Самолет несколько раз скользнул по земле, задрезал, подскочил на воздух и сразу всей тяжестью налег на колеса. С непередаваемой радостью ощущал я милое громыхание шасси по колдобинам и комьям мерзлого поля, твердость родимой почвы, ласковые избы вдаль и вечерние голубые косогорчики. Какое наслаждение потрясло меня, когда самолет застыл на месте! Все гурьбою кинулись к выходу, открыли дверь, сбросили трап и стали опрометью выскакивать на воздух. У меня дрожали ноги и руки, и я с трудом спустился на снег. Не останавливаясь, я пошел в молчаливый снежный простор, без цели, без направления, — просто так, чтобы почувствовать землю, скрипучий снег, устойчивую неподвижность мирных полей и уютных деревенских крыш за отлогим взгорком.

— Милая, родная земля!.. — шептал я. — Дорогая моя земля!..

И вдруг в душе стало светло, устойчиво и бодро: все бредовые видения и мысли растаяли, унеслись вместе с пургой и мутью.

Я остановился и оглянулся назад. Самолет стоял далеко, задрал голову и неподвижно распластав крылья. Около него толпились пассажиры. Уже смеркалось, и снеж-

ные дали переходили в фиолетовые сумерки. Небо было мутное, и тучи неслись очень низко. Хотя свежий снежок и скрипел под ногами, но здесь, должно быть, совсем не было того урагана, с которым мы боролись в этой чортовой вышине. Воздух был теплый, домашний, с запахом навоза и мокрой земли. Неподалеку от меня бежала черной тенью лошаденка и тащила за собой сани. Я побежал наперерез ей, чтобы узнать, где мы находимся. На санях сидел крестьянин в стареньком полушубке и смотрел мне навстречу с недоверчивой улыбочкой, спрятанной в реденькой бороденке.

Он сам остановил лошадь и первый же спросил:

— Это чего птица-то тут села? Из нее ты, что ли?.. Ерапланы в жизнь в наших местах не садились... Аль что приспичило?..

— Буря сюда занесла. До города-то далеко отсюда?

— Вот-а!.. — засмеялся он. — Ну, и сморозил тоже!.. Хо! До города-то едешь, едешь — глаза вылупишь...

— Нет, без шуток...

— А без шуток — так: иди по этой дороге, она тебя к вокзалу приведет. До города-то по нашему счету верст пятьдесят будет...

— Нельзя ли лошадку с вашей помощью нанять?

— Вот-а, чудак какой! Какая теперь лошадка? Война! Лошадка теперь не гладка... На своих на двоих дешевле... ответственной... Н-но, ты, сивая-ковурая!..

И колхозник ударил вожжами по сухому крупу лошади.

Я возвратился к самолету, но никого из пассажиров не застал: все ушли ночевать в деревню.

Я влез в самолет, взял свой чемоданчик и простился с экипажем: в деревню я не пошел, а решил добраться до города.

XXII

В кромешной тьме я кое-как доплелся до маленькой станции, сел в товарник и в час ночи уже был дома.

Моя холостая комната показалась мне бесконечно родной и уютной: она встретила меня ласково, как живая. Она дышала моими тревогами, она хранила все мои мысли и радости. Со стены смотрели на меня Лиза с Лавриком, хмурился мой старик и грустно улыбалась мать. А Игнаша как будто даже подмигнул мне: вот, мол, я

тоже здесь, с тобою!.. На столе лежали груды книг и толстая папка этих записок.

Как кровно родного встретила меня Аграфена Захаровна. Даже в сумраке прихожей видно было, что она покраснела от удовольствия. Казалось бы, чего ей так радоваться? Ведь я не был дома только четыре дня. Причудливая вещь душа хорошего человека! Пропадай я хоть целую неделю в своем цехе, эта женщина не взволнуется. Но стоило уехать куда-то в Казань и сразу же возвратиться, она уже встречает меня, как после долгой разлуки.

Не успел я войти в комнату, как она принесла мне целый ворох писем и газет. Я выхватил их из ее рук и стал жадно разбирать.

— А вы не волнуйтесь, Николай Прокофьевич... Письмо-то из Ленинграда наверху было. Зачем вы его отбросили?

Письмо было необычно короткое, и это почему-то испугало меня. Что-то в этом листике, написанном с двух сторон, было суровое, как окрик. Я даже смущенно оглянулся, боясь, как бы Аграфена Захаровна не догадалась, что мне не по себе. Но в комнате ее уже не было.

«Родной мой! — читал я, дрожа всем телом. — Получила твои телеграммы, а потом — два письма, но долго не отвечала на них — сознательно не отвечала. Мне кажется, что за это время ты мог многое передумать, многое понять и не осуждать меня. Выехать из Ленинграда я не могу и не хочу. Оставить многострадальный город, который борется за свою жизнь и за жизнь страны, — город, где я родилась, где прошла вся моя жизнь, — это значит малодушно уйти в сторону от борьбы. Разве ты сам оставил бы добровольно наш мужественный Ленинград? Разве ты не рвешься сюда, чтобы грудью пробивать блокаду? Но ты и там, на Урале, бьешься на переднем крае обороны. Ты бьешься за двадцать, за тридцать человек. Ты выполняешь великое задание страны. Тебя знает весь народ. А мой священный долг — оставаться здесь до конца, как рядовой боец.

Я люблю тебя какой-то новой, огромной любовью и во имя этой любви я всю себя отдаю любимому городу. Самое трудное пройдено: блокада прорвана с Ладожского озера. Страна снабжает нас хлебом, оружием, техникой. Тысячи машин курсируют по льду озера, несмотря на вражескую бомбежку. Наши соколы дружно очищают небо от не-

мечких коршунов. Идут жестокие бои, и мы уверены, что блокада скоро будет прорвана окончательно.

Как я счастлива, что Игнаша воскрес! Старик наш хоть и ослабел, но, когда узнал, что Игнаша жив, высоко поднял голову и сказал: «Не удивляюсь: Шароновы — удачливы, потому что смекалисты и никогда не теряются». Лаврик велит передать тебе, что он — тоже герой Ленинграда. Всегда с тобой твоя Лиза».

В этом письме — вся моя Лиза. Эта нежная строгость ее слов вызвала не огорчение, а стыд за себя и гордость за нее. Так именно она и должна была поступить.

В письмах из разных городов Союза рабочие и работницы, старики и юнцы требуют совета, дают обязательства, вызывают на соусоревнование... В областной газете появились открытые письма известных фрезеровщиков, токарей и лекальщиков других заводов края. В этих письмах они с дружеской теплотой приветствуют меня и сообщают о своих победах и достижениях. Они выражают желание немедленно приступить к обмену опытом. «Нас много, — пишет один из них с явным задором, — и все страстно добиваются новых и новых рекордов. У нас уже целый ряд изобретений, и мы применяем такие приспособления, что тебе, товарищ Шаронов, увидеть и изучить их не бесполезно. Мы с интересом следим за твоей работой. Надеемся, что и ты знаешь наши имена. Так давай же, дорогой товарищ, поведем дальше на бой нашу молодежь. Поддержим наступление наших красных воинов и рядом с ними еще крепче будем разить немецкую сволочь упорной борьбой на трудовом фронте».

Только в эти дни я почувствовал, как грозна сила ответственности. Мне было и страшновато и радостно. Но в то же время я ощущал себя богаче и сильнее, чем раньше. За эти полгода наш двуединый завод вместо двух-трех машин в сутки выпускает уже целые вереницы танков и самолетов. Мы рьяно ругаем себя на каждом производственном совещании, на каждой заводской конференции, и постороннему человеку могло бы показаться, что мы завязли в недостатках, что работаем плохо и вообще не умеем работать. Но на самом деле каждый день — это напряженная битва за новые и новые высоты. И каждый рабочий, вплоть до подростка, — это боец, который рвется на переднюю линию огня. Война и здесь дышит в каждом уголке и в каждом сердце и родит героев.

Утром я побежал на завод. Еще издали приветствовал он меня своими огромными корпусами, высоченными трубами, выдыхающими черный дым, градирнями в облаках пара, и я остро и глубоко почувствовал невыразимую любовь к нему: ведь он — часть моего родного города, это мой дом, мой мир, моя боевая крепость. Ревели в вышине серебристые стаи самолетов, и откуда-то из недр завода доносился металлический рокот танков, и в этой музыке боевых машин гремела буря нашей ненависти, гнева и мести, наша сила и великая уверенность в победе.

У подъезда заводууправления я встретил Петю. У него блестяли глаза, и он смеялся от восторга.

— Понимаешь, как чудесно, что я тебя встретил, Коля! Только ты и нужен мне в эту минуту. Как быстро ты возвратился! Ну, как Игнаша?

И, не слушая моего ответа, он торопливо, перебивая самого себя, говорил:

— У меня необычайное событие... Ну, как тут не поверишь в действительность чудес!

— Я тоже дня два жил в миео чудесного, Петя.

— Ты пойми, Колька! Моя Наташа... Я пришел к ней вчера, и она впервые кинулась ко мне на грудь и заплакала... «Петя, Петя! — кричит, — ты живой... Возьми меня отсюда, возьми сейчас же!..» А я не чувствую себя от потрясения... Понимаешь ли ты, что это значит?

— Я понимаю, Петя. Это — большое счастье... Я же говорил тебе, и это случилось... А моя Лиза остается в Ленинграде: для нее вся жизнь — там. Это — ее долг и счастье. Игнаша ослеп, но ему кажется, что видит рассвет. Он весь в мечте о солнце, о будущих полетах и радуется, как ребенок...

— Да, да, Коля, я это очень хорошо чувствую: я сам как ребенок...

Он быстро зашагал к проходной, размахивая руками, а я пошел в цех.

Вдали, на широкой площади между корпусами, стояли крылатой серебряной толпой самолеты. Их вывели из сборочного цеха и выстроили рядами для испытательных полетов. Эти пернатые машины неотразимы и сокрушительны. Немцы в страхе прозвали их «черной смертью». Да, эти страшные птицы поливают их «черной смертью» отовсюду — и из кабин, и из крыльев. В каждой из них —

живая частица моей души, и мне чудилось, что они приветствуют меня издали и трепещут крыльями.

Из широких ворот двух противоположных цехов с грохотом и лязгом выползали в переулок танки. Слева — средние, а справа — тяжелые. Все они — голубые, глянцевые. Они играли своими колесами и стальной бахромой гусениц. Длинные стволы пушек грозно целились вперед, высываясь из литых башен. На броне стояли танкисты и рабочие. Они что-то кричали друг другу и махали руками. Танки становились в ряды и загромождали переулок. Это родилась очередная сменная партия, готовая к бою. В этих машинах тоже воплотились, как в кристаллах, мои искания и мои боевые победы. Здесь всюду — дыхание войны: и грохот танков, судорожно рвущихся вперед, и трепет самолетов в небесах, и гулы завода... И я чувствовал, что я — такой же боец, как и эти танкисты и летчики, опаленные битвами.

Родная моя страна, мать моя! Вся моя жизнь, все мои помыслы принадлежат только тебе...

МАША ИЗ ЗАПОЛЯ

Вот я сейчас — председатель колхоза, а раньше, до войны, простой была колхозницей, за своим мужем жила.

До войны мой Максим — я про мужа говорю — до того активист был, что и о своем хозяйстве, и о родном своем семействе забывал. Он и раньше, молодым, за колхозы головы не жалел — очень даже много трудностей претерпел. Оба были мы веселые, сошлись по любви, и всё нам казалось — трын-трава. Потом отслужил в Красной Армии и вернулся молодым командиром. Я и сейчас в грязь лицом не ударю, а девушкой была красивая — певунья, плясунья, озорница, за словом в карман не лезла. И, как там ни говори, умная была. С дурой-то Максим не подружился бы: он очень даже разборчивый. Он и с родителями своими так не советовался, как со мной. Всегда этак погладит по голове, улыбнется и скажет: «Ну и советчица ты у меня! Скажешь — как в рамку врежешь». А в колхозном деле при начале злоба была, скандалы, смута — до ножа, до пули доходило. Ведь домовою-то, как старый кот под печкой, века в своем гайне лежал, как медведь в берлоге, лапу сосал. Выгони-ка его, выживи-ка!

Я — грамотная, книжки любила читать. Пушкина стихи и сейчас на память знаю, Лермонтова — о купце Калашникове, а Некрасова слезами обливала и на голос пела: «Что так жадно глядишь на дорогу?..» Поешь, бывало: «Завязавши подмышки передник, перетянешь уродливо грудь, будет бить тебя муж привередник и свекровь в три погибели гнуть...» — поешь, а слезы в три ручья. Мамыньку вспомнишь, как она горе всю жизнь мыкала и умерла, несчастная, свету не выдавши.

Когда колхоз строили, мы с Максимом очень даже большие активисты были. Об этом можно целую книгу написать. Всё было: всякие беды мы с ним испытали — и смерть по пятам ходила, и охотились за ним по ночам.

Ну, да об этом нет надобности вспоминать: было да прошло, было да быльем поросло. Не об этом разговор. А вот как этот год вихрем на меня налетел и закрутил меня перышком, — вот об этом мне и охота рассказать.

Как война-то разразилась, наша деревня словно задрожала вся. Не знаю, как там землетрясения бывают, а мне почудилось, будто и земля, и избы, и лес на косогорах ходуном заходили. Может, это у меня сердце застонало, только почувался мне гул страшный, а потом — пустота. Помню, утром это было. Окошки все были отворены, на улице — солнышко, благодать, крапивой пахнет и коноплей. Выбежала я на крыльцо — глазам больно от солнца: все горит и играет, куры гуляют и разговаривают. А соседка наша — старушка Агафья, злая такая староверка, качает зыбку у завалинки под ветлой и угрюмо поет: «По грехам нашим господь посылает велику беду на нашу страну». Бабы где-то заголосили, потом крик, шум, и опять будто все оглохло...

А тут влетает в комнату сломя голову Дунярка, дочурка моя, — в лавку за керосином бегала, — размахивает банкой и визжит:

— Маманька, война с немцами объявилась! Лавочку захлопнули, всех вытурили... Папанька наказывал: сейчас, говорит, приду, пускай мать не беспокоится...

А потом все как во сне случилось. Очнулась я, когда за околицей Максю провожала. Вся деревня, как на демонстрацию, повалила с красными флагами, с знаменами. По дороге — подводы с сундуками, с чемоданами, а по сторонам, по траве и впереди — толпища. Макся шел со мной под ручку и все улыбался и говорил мне:

— Вот и воевать пришлось, Машенька. Бить буду фашистскую сволочь... Ворвались, гады, срывают всю нашу работу... Бить и гнать их надо, иначе — конец нашей жизни... Я даже горжусь, Маша, что родина меня призвала... А тебе спасибо, что не плачешь и меня и себя не срамишь... Ухожу, Маша, и знаю, что себя оправдаешь и меня заменишь.

Поднял Дунярку на руки и засмеялся.

— Ну, Дунярка, на тебя — надежда: матери плакать не давай...

— А она, папанька, ни разу не плакала. Она сама говорит: пускай наш папка веселый на войну пойдет.

— Ну, и молодец мамка! А ты расти. И с мамкой крепче вожжи держите. Все заботы на вас свалились...

Дунярка-то маленькая, одиннадцатый годок пошел, а как большая с ним:

— Ты, папанька, о нас не думай: только воюй, а мы здесь все на своих плечах вывезем.

Потом обняла его и заплакала.

А когда я прощалась, думала, не выдержу: сердце оборвалось, все кругом завертелось. И только одно запомнила — ласковые и строгие слова Макси:

— Я на тебя, Маша, как на каменную гору надеюсь. Писать буду часто. Ни от чего не отказывайся, а сама будь впереди всех. Вы, бабы, народ хороший. Пуще глаза охраняйте колхозное добро, себя не жалейте, а колхоз держите высоко. Я иду воевать, и ты, Маша, воюй храбро...

А я лепечу ему без ума:

— Ты, Макся, и думать не думай. Обо мне не болей. Ни тебя, ни себя не обесслаблю.

Ну, и стали жить без наших мужей. В правлении колхоза остались только трое из старых работников, да и то вскорости одного призвали. А остались-то: старик Митрий Калягин, седобородый и весь какой-то заспанный всегда, неразговорчивый, и ворчун неистовый. И все-то приговаривает: «Эх, народ, народ! Федот, да не тот. Ни прясла, ни связла не свяжут. Все пропадает недуром. У доброго хозяина — по-другому было». А другой, Нефед Тихоедов, тоже в седых годах, все больше цифрами увлекался: сидит со счетоводом, и оба бормочут, до огней колдуют.

В первый-то год кое-как справились: и хлеб собрали, и посеялись. А на другой год, когда мужики поределли, очень даже затруднительно стало.

Предсельсовета у нас был мужик хороший — Павел Петрович. Сухонький, с бородкой реденькой, голосочек тоненький, такой хлопотун, такой гамаюн, что любо-дорого глядеть на него. Он и сейчас у нас председателем. Ух, и знающий! И декреты все, и решения партийные помнит и никогда не закричит, не оборвет, а добренько так, чисто-плотно, честно и пожурит, и поучит, и шуточкой поиграет.

Правда, были еще мужики, да особой активности

ждать от них не приходилось: они и раньше больше помалкивали да за спины прятались.

Рабочая пора настала — хлебоуборка, молотьба, а тракторы на гумне пустить некому, жатку, к случаю, починить — руки не найдешь. Работали в ремонтной мастерской два старика — кузнец да плотник, а толку от них было мало. А тут надо пахать, осенний сев провести. Я еще с начала войны активно в колхозные дела включилась; наказ-то Максима всегда помнила. А тут уж совсем забеспокоилась. Бегу к Павлу Петровичу.

Встретил он меня улыбочкой и подле себя усадил.

— Я, — говорит, — заботу твою и тревогу очень даже хорошо понимаю, Маша. Кому, — говорит, — как не тебе наших женщин организовать. Был, — говорит, — я в райкоме партии, и поручили мне выдвинуть тебя в правление колхоза. Ты, — говорит, — и энергичная, и сознательная, и хозяйство знаешь. Женщина сейчас — решающая сила в деревне. Принимайся, — говорит, — за дело, Маша. Пока до выборов введем тебя в правление. Оно не по темпам работает.

Стань я на дыбы, он меня тогда и припер бы:

— А кто дал Максиму обещанье: не обесслаблю?..

Дрожу вся, сама не своя.

— Хорошо, Павел Петрович... Только где я силы-то да уменья возьму?.. Надо для этого, Павел Петрович, характер иметь да политику знать...

А Павел Петрович смеется и бородку свою доит.

— Ничего, ничего, Маша, справишься. Ты женщин наших хорошо знаешь и сумеешь их за душу взять. А ежели что — помогу. И район поддержит.

Село наше большое, и хозяйство богатое. До войны наш колхоз миллионером сделался. Поля наши на несколько километров тянутся. Конечно, лесов много, а в лесах — озера да все рыбные. Работаете на поле и не на радуетесь: речки звенят, и жаворонки ручейками заливаются. Лес-то у нас все сосновый — стоят сосны махровые, стволы — как свечи восковые, и такой аромат плывет, что буквально вся как во хмелю.

У нас — и школа-семилетка, и библиотека, и кино наезжает, а нынче на уборочную поэты из области были — стихи свои читали. Поэтов я необыкновенными считала — по Лермонтову да Некрасову. И приехали они — девушка одна рыженькая да конопатенькая была, — так, поверите, даже обидно как-то стало: простенькие, беденькие, а у

девушки и башмачки-то дырявенькие. Конечно, не одежда красит человека, ну, а необыкновенности-то в них никакой и не было. И, должно, голодненькие были: все картошку ели да молоко пили. Пьют, едят и приговаривают: «Рай земной у вас!..»

Жалко их было, ну а стихи читали хорошо и культурную работу вели благородно. Они про нас в газеты писали красиво, — спасибо им.

Я еще при Максе бригадирство вела. Бригада у меня была молодежная: больше девчата да мои старые подружки. Артельные были бабенки и все — грамотные. Озорные, веселые, — наподбор. А работали-то как! Всё горело в руках, само солнышко радовалось...

Страшно мне, конечно, было к руководству подходить. Как-никак, а я ведь все-таки за спиной Максима моего была. Ну, ясное дело, с ним, бывало, и советуешься, и всякие деревенские дела обсуждаешь. Хоть он наших женщин очень отлично знал, ну а политику свою все-таки через меня проводил. Скажет: «Маша, ты с своими товарками возглавь соревнование — поведи всех за собой. У тебя сбитое ядро — чудеса можно сделать». А мне было приятно: верит в меня, уважает, не только я жена для него! Заиграет сердце, как голубь, и не ведаешь, откуда сила да огонь берется... Ох, и время было прекрасное! В эти годы я словно на пять голов выросла.

Дунярка, девчущка моя, еще маленькая была, уход да глаз за ней нужен был, а время и для нее и для работы находила. Ловкая я всегда была да находчивая: на поле с собой ее берешь, на собрание — тоже. А потом мы с учительницами детский сад и площадку устроили. На ясли и детские учреждения я много труда положила: сама во все детали входила. Не столь время тратила на эти дела, сколь на наших матерей, будь они неладные.

Ну, так вот, о правлении колхоза пришла очередь сказать. Явилась я туда — народу пропасть. Сидят правленцы: один со счетоводом, на счетах щелкает и бормочет, не поймешь что. Другой, Митрий, ворчит, ругается, корит кого-то и выдает на руки какие-то бумажки. Вижу — пришли и мужики и бабы не спроста. Глаз у меня, — прямо скажу, не хвастаясь, — зоркий, сразу вижу, какой чорт играет в человеке. В деревне всякого знаешь, и нор его — на виду. Ну, думаю, ежели Маланья Дедова здесь, значит, болтушка — во-всю. Упорная это была ба-

ба, непослушная, злая, до конца свою линию вела. Всех нас охалила и на улице, и на поле, а Максю досмерти возненавидела. Перед Павлом Петровичем, как монашка, пела, в пояс ему кланялась, а лицо — желтое, глаза лицемерные, как у кошки. И не то, чтобы она самосильное хозяйство в былые годы имела или там самовластную жизнь прожила. Плакать ей о порушенном житье-бытье нужды не было. Я еще девчонкой была и не раз плакала от жалости, когда муж ее, — такой неудачный мужичишка, пьянчужка, табачник, бездельник, — смертным боем бил ее. Баба она была сильная, рослая, ворочала по хозяйству не в пример здоровому мужчине: и косит, и жнет, и пашет, и пятипудовые мешки на плече таскает. Да такого мозгляка, как ее мужичишка, одним бы щелчком она могла скovyрнуть. А вот поди ж ты! Бабья душа и сейчас — поперешная, а тогда она была — потемки, недаром такая поговорка в народе веками жила. Терзает ее мужнишка-то, а она будто сама ловит его кулаки да пинки, кровью обливается, коровой ревет и хоть бы ладошкой закрылась. Отольем ее, бывало, водой, подыдем под руки, а она расшвыряет нас и на всю-то деревню лается: «Не ваше дело, не ваша беда...» Вот какая баба! Ну, а когда мужнишка в трезвом виде был, — в кулаке держала. Орет на него, туркает и туда и сюда его. Семенит он, носом шмыгает, сутулится, будто боится, как бы она его по башке не нагвоздила. Правду сказать, такой работницы да рачительницы, как Маланья, и по округе не сыскать. Все хозяйство на ней держалось. Гляжу, бывало, на нее и думаю: эх, ежели бы тебя, Маланья, в активную жизнь вовлечь — цены бы тебе не было!.. Не любила она колхозного нашего дела. И хоть в колхозе состыяла, а на работы выходила словно из-под палки, чтобы только-только трудодни им засчитали. Он-то был бросовый, бракованный, ни на какую работу не годился — больше навредит, чем выполнит. А она — пускай с рывка, со злобы, ненавистно — ворочала за двоих.

Так вот эта самая Маланья в правлении, в толпеше этом табачном, как у себя на дворе, развоевалась. Руки в боки, глазищи, как у ведьмы, стекла дребезжат от горлана.

Увидала меня, тычет в меня пальцем и хохочет.

— Уж не эта ли активистка обратять нас хочет? Да она и лошадь-то охомувать не способна...

Я, конечное дело, ничего ей не ответствовала. Подошла к деду Митрию и заявила:

— Я, — говорю, — райкомом в правление послана. Павел Петрович мне объявил.

— Добро, — говорит, — садись на мое место, а я по хозяйству пройдуся.

— Нет, — говорю, — дедушка Митя, скажи-ка мне: какные ты бумажки людям выдаешь?

— А это, — говорит, — по тяжелому времени, освобождаю на декаду для своего индивидуального хозяйства.

— Как это для индивидуального? А на колхозное наплевать? Да ты, — говорю, — обалдел на старости лет? Кто тебе позволил? От кого директивы получил?

И так меня эта его халатность возмутила, что ходуном всё заходило. Куда и робость моя девалась!

— Слушайте меня, граждане колхозники! Бумажки эти самые никакой силы не имеют. Самоуправство Митрия Калягина считаю преступным в наши тяжелые военные дни. Возвращайте-ка их опять на стол. Вы чего это задумали? Куда это годится? На чью руку играете? Сейчас хлебоуборка настала, а вы — по своим логовам? Врагу Гитлеру хотите помогать? А подумали ли вы, как к нам товарищ Сталин отнесется? А не скажет ли он: вот колхоз «Светлый путь» на темный переходит: работу бросил, хлеб на полях погноил и своих воинов на голод обрек, фронт ослабил, дорогу немцам очистил... Этого вы, граждане колхозники, хотите? Признавайтесь, кто совесть и честь не потерял!

Вижу, народ как будто засовестился: присмирел, приумолк. Человека два бросили бумажки на стол и продрались обратно, подальше, в самый зад. А Маланья грудь выставила, зубы окалила, зеленая вся — и ко мне:

— Ишь ты, куда пристяжная повернула! Чего ты забрыкалась-то? Да какая ты для нас распорядительница? У меня тоже муж мобилизованный... Не стражай, — не из пугливых ворон... Ты еще из комсомолок не вылупилась, а нас уму-разуму учишь...

И тут я не сробела, — уж очень нервы у меня разволновались, душа стрункой натянулась.

— А что ты, — говорю, — Малаша, скажешь, после этих твоих поступков, ежели мужа убьют? Не опалит ли тебя совесть? Так-то ты мужу своему помогла? Да ведь из нашего села молодой цвет с врагами сражается... и за тебя

и за всех нас. Бумажечку-то ты вынудила, да и других в смуту ввела... Ну, что ж, валяй, валяй!.. А там, уж извини пожалуйста, — пеняй на себя, Маланья Кирилловна. И у нас не без хороших, честных людей... у нас и без тебя совестливые найдутся... Смуты мы никак не потеряем... метлой выметем...

Тут она опять было орать начала, да я ее осадила: — Ты свое слово сказала — можешь уходить с своей фальшивой бумажкой.

На нее прикрикнули, а она только фыркнула.

— Что же я, — говорит, — хуже тебя, что ли, Машка? Чего ты нос задираешь?

— Я тебе — не Машка, — говорю и строго стучу рукой по столу. — Меня партия и советская власть сюда поставили. Хуже ты здесь аль лучше — время покажет, а сейчас покамест ты — верная себе: антиобщественный элемент.

Повернулась она и стала через толпу пробираться: вижу, не вышла, а в углу, у двери, остановилась. Лицо злое, мстительное, а по глазам замечаю, как пьяная: за живое ее захватила. Глядит и ничего не видит. Обидно ей — нашла коса на камень, не ждала, не гадала, что такой ей активный отпор будет. Задумалась. Ну, думаю, я знаю, за какое тебя место прищемить.

И тут же с места в карьер обратилась к Митрию Калягину:

— А ты, дед Митрий, не уполномочен порядок в колхозе нарушать: твоя доброта хуже воровства. Ты бы подумал, как силу сколотить в это трудное время, а ты ее по ветру развеял.

И сразу же — благо народ толчется — объявила собрание. Наметили повестку дня: об организации сельских работ и назначили разных ответственных людей — бригадиров, заведующих фермами и других прочих.

Народ-то у нас не плохой, совестливый, работающий. Землю любит, труд на земле исстари святым почитает. Ну, конечное дело, своя болячка еще дает себя знать: нет-нет — и занает. Мамона-то единоличная, как старый домовый, в дедовской избе живет: и коровкой мычит, и свинушкой хрюкает, и по усадьбе гуляет. Привычки-то да вековечный уклад, как сор из избы, не выкинешь: с молоком матери впитались. Тут нужно воспитанье да воспитанье, неустанная работа на всю жизнь. Не одно по-

коленье надо воспитывать. Ну, да ведь на то и социализм: это трудная, великая работа, это не фокусы. Нам рай, как в библии, боженька не даст, а строится он с борьбой, с муками, с верой. Ну, а ежели создали да почувствовали, что свое, — сами гордятся, очень даже дорожат, видят, что хорошо, и радуются. Чего там говорить! Человек ужасно весь запутанный: и хорошее в нем есть и дурное, друг он себе и враг, и ангел и чорт. Распутай-ка его. А особенно наш, деревенский человек. Очень даже знать его надо, уметь взять его за сердце да подойти к нему. Власть — дело мудрое, а без души, без сердца власть — это самовластье. Очень даже горько и обидно, что в нашем языке такое слово в обиход вошло.

И вот с того часа я и стала работать изо дня в день. В правлении сидеть мне было без надобности. Нужно было дело делать, а работа не ждала — забот по горло. Первая статья — хлеб надо было косить, молотить да государству сдавать. А массив у нас был огромный. Потом — пахать, к осеннему севу готовиться, а он — уж на пороге.

Вторая статья: надо было сено возить, о кормах да поголовьи позаботиться. А там — птицеферма и молочное хозяйство. Опытных работников почти что не осталось. А ядро наше женское было маленькое, хоть и крепкое. Я о своих подругах говорю, о бригаде своей. Хоть колхозниц и порядочно было, да многие о торговлишке думали: глядишь — каждая пятая чуть свет летит со жбаном молока, с картошкой, с маслом. Хватаешься за голову и думаешь: как быть? что делать? Горячее время — справимся ли? Что я должна предпринять?

Очень я голову ломала, как красиво дело повести, а время требовало своего, — дня нельзя было терять. Собрала я всех наших женщин, открыли мы совещание. Наши, мол, мужья ушли воевать, а нам наказывали: «на вас, дорогие женщины, надежда: не подкачайте, с делами справляйтесь, помогайте нам своим трудом. Провалите работу, подведете государство — нас под удар поставите, и стыдно нам будет начальству и товарищу Сталину в глаза глядеть. А ежели погибнем здесь от пули немецкой, вы прежде всего в ответе будете: не накормили, не напоили, рабочих на оборонных заводах заставили голодать, — значит сорвали производство оружия и боеприпасов.

Две у меня старых подружки были: Варя Коноплёва и Анфиса Теплых. Варя, высокая бабочка, статная, погородски ходила, опрятная, грамотная, ни перед кем не робела, правду-матку в глаза резала. Глаза—большие, задорные, посмотрит — рублем подарит. Характерная была бабеночка. Муж у нее, Терентий, близкий товарищ был Макси с молодости. Оба были в Красной Армии, оба — младшие командиры были и оба за колхоз дрались. Терентий тоже был в правлении и очень даже увлекался молочной фермой: сам ее организовал. Ну, первым делом я Варю приставила хозяйствовать на этой ферме и передала ей всех коров и телят. А другой — Анфисе, скромной, маленькой и робкой по виду, поручила наш птичник: очень уж она птицу любила — только о курах да о гусях и говорила. Кажется, что даже во сне их каждую ночь видела. У ней у самой куры на загляденье были — всякие разные породы: и леггорны, и плимут-роки. Птицеферма у нас богатая — залюбуешься: прямо земля цветет и кипит.

Ну, и вот, созвала я собрание, гляжу и диву даюсь: и Маланья здесь! Сидит позади всех — хмурая, ехидная, почернела вся. Ну, думаю, устроит она нам тарарам. Посоветовались мы с Варей да Анфисой и решили: ежели озорничать будет, демагогией заниматься, обрежем ее, чтобы она больше — ни лбом, ни задом. А ежели в молчанку играть будет, — наша, мол, хата с краю, — выделим ее полевым бригадиром. Ведь, правду сказать, слово-то разит тех, кто слушать умеет, а дело любого рано аль поздно охомукает. Выступает Варя и так это веско и убедительно говорит:

— Хлебоуборка у нас теперьча — самое горячее дело. Провалим это дело — позор нам на всю область. А проведем хорошо — уберемся, выполним наш долг перед Красной Армией, поможем нашим воинам немца побить, — слава нам и хвала. Для этой ответственной работы я выдвигаю Маланью Кирилловну. Женщина она — хозяйственная, умная, заботливая, всю свою жизнь в труде прожила, всякую мелочь учтет. На нее очень даже можно положиться.

Смотрит на нее Варя своими большими, хорошими глазами, лицо высоко подняла, а Маланья так и застыла вся: озирается, даже как будто осунулась. Женщины наши переглядываются, от такой неожиданности буквально онемели. И вдруг как закричат в один голос:

— Верно, верно!.. Малашу надо... Все голосовать будем...

— Ну, что ж,—говорю,—Маланья Кирилловна не отказывается. Давайте проголосуем...

Только я сказала, Маланья выскочила и сломя голову — вперед, к столу:

— Не желаю! — говорит. — Нет моего согласия. У меня у самой своих дел по горло: и дети, и хозяйство...

Дала я ей прокричатся, перегореть, а потом тихонько и спрашиваю:

— Как же это так, Маланья Кирилловна? По-твоему, значит, немец пускай наших бьет, пускай наши кладут свои головы, пускай на растерзанье идут? Так, что ли? Пускай люди с голоду умирают, пускай заводы останавливаются. Ты это хочешь высказать?

— Совсем даже не это,—кричит.— Там свое дело знают, а я — свое. Я не воюю. А своих детей и хозяйство по ветру пускать не хочу.

— Вот так раз,—говорю.— Да ежели все женщины у нас в стране закричат, как ты, да все плюнут, что же тогда получится? Подумай-ка. Ведь нас, Маланья Кирилловна, всех на войну мобилизовали, и тебя наравне с нами. Мужей наших призвали, а нам приказали: заменяйте их. Они — на фронте, а вы — в тылу. И разъяснили: и фронт и тыл — это одно. Как будет в тылу — так и на фронте. А женщина сейчас — решающая сила. Каждая женщина сейчас — в ответе. Не желаешь работать, родине помочь, значит, супостата вооружаешь и отдаешь ему наших людей на растерзанье. Разве ты не слышала, как они издеваются и зверствуют в захваченных местах: и расстреливают, и вешают, и пытаются, и глаза пленным выкалывают, животы распарывают, наших девушек и женщин бесчестят и всех на голодную смерть обрекают? Значит, ты хочешь, чтобы Гитлер и к нам пришел и здесь такие же зверства натворил? Ведь он на весь мир заявил: всех русских истреблю до одного человека, а которые в живых останутся — рабами сделаю. Вот и скажи ты нам, Маланья Кирилловна: ты этого хочешь? Как же это у нас называется?

Горячо я говорила, без хвастовства скажу, а ежели волнуясь, так прямо огнем горю. И вот, когда я о муках наших людей сказала, от слез голос у меня оборвался. Вижу, некоторые женщины тоже разволновались. Некие

ахают, вздыхают, качают головами, отмахиваются и бормочут:

— И как ей не стыдно! В это время-то... Как это у ней язык ворочается?.. И откуда у нее, поперешной, злость такая?..

А Маланья стоит, как к месту приросла, глаза красные, руки дрожат.

— Ну, что ж,—говорю,—Маланья Кирилловна, можешь уходить. Мы к тебе всей душой обратились, с верой к тебе... а ты вот как повернула!.. Считали, что придет такое время — одумаешься... Время это пришло — тяжелое для нас время, — а ты, однако, не одумалась. Хуже: ведешь себя буквально, как предательница... Ведь не знаю, как бы ты себя с немцами-злодеями повела... Может, и нас бы всех на виселицу отправила?..

И как только я это сказала, задрожала она вся, платок с головы сорвала, прижала его к груди, хочет крикнуть и не может: дух захватило.

Как раз в эту минутку вошел Павел Петрович, остановился у двери и прислонился к косяку.

Жду, сердце у меня голубем бьется: боюсь, как бы скандала не вышло. И вдруг — батюшки! — Маланья тихо, как больная, с хрипотой и говорит:

— Зачем же это вы так, бабочки?.. Я — не злодейка какая-нибудь... не вражина... Ну, сбрехнешь когда от тоски... У меня ведь в нутре-то живого места нет... Знаете, как я жила — светлого дня не было... С молодости — в работище, детищи замаяли, муж пил без просыпу... Больная я... несчастная...

И заплакала.

— Посылайте... буду... Я от работы не отказываюсь...

И пошла, как побитая, на место — так с платком в руке, простоволосая, и пошла. А мы все смотрим на нее, словно громом нас оглушило. Павел Петрович подошел к столу и с улыбочкой проговорил:

— Я Малашу давненько знаю: еще вот этакенькая она была (и рукой от полу на аршин показывает). Женщина она честная, труженица... Ее надо понять... Жизнь-то у ней неудачная сложилась. Помочь ей надо.

Собраньем этим я очень осталась довольная. И только уж перед самой моей избой сердце у меня заныло. Слышу — соседка-старуха воеет под ветлой у зыбки: «По грехам нашим господь посылает велику беду на нашу стра-

ну...» Это — стих староверский, заунывный, скорбящий такой, до слез за душу хватает...

И тоскливо стало: вспомнила, как Макся, бывало, приходил домой в это время, веселый, радостный, озабоченный, как хозяин, который все знает, во все вникает, все любит и ему хорошо, потому что с пользой, с удовольствием день провел. А вот теперь его нет, и где он — неизвестно: сначала писал, этак с полгода, а потом ни весточки, ни привета, ни ответа на мои письма. Больно стало, что я—одна, что на земле рекой льется кровь, что гибнут страшной смертью на виселицах, под пулей, в пожарах такие простые люди, как я, как эта старуха-соседка. Уж ночь наступила, и избы были какие-то угрюмые и жуткие, и огоньки мутненько мелькали в окошках. На небе — ни звездочки. А старуха тихо так да угрюмо вопит, словно рыдает про себя.

В избу свою я вошла кое-как, и ноги отяжелели, и сердце замирало от предчувствия, будто и на меня наплывает какая-то беда. Только Дунярка душу мою осветила. Вошла я, а на столе — посуда, хлеб и цветочки в стакане. Ждала меня и все приготовила.

— Мама, — кричит, — мама! Заждалась я тебя, мамуленька!

— Аль любишь, дочка?

— Страсть,—говорит,—люблю. Так люблю, так люблю, индо плакать хочется... Вот и на стол собрала, всё приготовила, чтоб ты обрадовалась... О папаньке думала: птичкой бы к нему улетела...

И так она растрожила меня, что никак слез сдержать не могла: смеюсь и плачу, прижимаю ее к себе, целую и смеюсь... смеюсь и плачу...

Дни были горячие. Ни минуты нельзя было терять: хлеба ждали уборки дружной, а рук было мало. На эмтэс осталось только двое трактористов да два комбайнера. На жатки у нас девчата сели, а на комбайн стал на первое время сам Павел Петрович. Старик — старик, а никак не унывал, все с улыбочкой, с шуточкой.

— Зарежемся мы, — говорю, — с этой хлебоуборкой, Павел Петрович, а с пахотой и осенним севом—того хуже...

А он подмигнет, усмехнется и ласковенько скажет:

— Зарежемся, говоришь? А я верю, что нет: и хлеб уберем, и посеемся... Давай поспорим: колоска не оставим, и вспашем и посеем. И выходит, что я больше верю в ва-

шу бабью силу, чем вы... Нехорошо, Машенька, не верить в свои силы: сама себя разоружаешь. А надо так: сделаем! На войне-то, ты думаешь, легче? На смерть идут люди... Кажется, невозможно взять укрепления противника, а дух и уменье невозможное делают возможным.

— Дух-то, — говорю, — может, у нас и есть, да уменье-то где?

— И опять тоже нехорошо ты говоришь, Маша: уменье — от хотенья. Уменью люди учатся. Лишь бы высокий дух был, а уменье — дело наживное. Пока что жатки погремят, — лошади-то кой-какие есть, — тут мы двух зайцев и убьем: тракторные курсы для девчат да подростков устроим. И поедут, заработают, — да еще как!

Не стану рассказывать, как день ото дня мы все хозяйство в свои руки брали. Нужда нас на первое место выгнала: берите в свои руки государственное дело. Да нам, признаться, нечего было приказывать и внушать: у самих сердце не на месте было от заботы и беспокойства. Видишь, хлеба желтые, волны идут по ним, словно к тебе торопятся: жать пора! А сердце им навстречу бьется. Я с детства любила и сенокос и жнитво. Золотая пора, красивая, веселая, хоть работа и трудная. Кажется, по полям-то само солнышко пылает и поет жаворонками.

Дед Митрий, страшное дело, недовольный был, что мы в правленьи новые порядки стали заводить: толкучку уничтожили, людей всех по бригадам закрепили, а наряды еще накануне на работах давали дня на два; деду Митрию и другому, цифролюбу, строгую ответственность поручили: одному — поле, другому — доставку зерна на ссыпной пункт. Им уже не время было сидеть в правлении да сосать самосад. У деда Митрия глаза стали волчьи, а седая борода да брови так и прыгают.

Смехота была глядеть на него. Ворчит, меня как бы не замечает, к Нефёду обращается, а тот сидит сычом, щелкает на счетах и хмыкает — не поймешь, что думает. Особливо смешно было, когда Митрий из себя выходил, потому что никто его не слушал. Нефёд-то, бывало, целый день, как уткнется в ведомости да цифры свои, так ни одного слова и не выдавит из себя.

— Хоть кол им на голове теши... — ворчит Митрий. Борода у него трясется, ноги подгибаются, а ноги-то у него вогнуты были друг к дружке в коленках, будто крестна-крест выросли.

В этот самый момент я спокойно, заботливо и строго-ко говорю ему:

— Митрий Егорыч, тебе пора на поле итти. Дело не ждет. Ты ведь у нас на поле — голова.

— Поговори там: без тебя не знают.

— А что же,—говорю,—Митрий Егорыч, и я поеду доглядеть. На то мы и поставлены.

И нарочно торопливо собираюсь.

Надоело это мне досмерти. Кинулась к Павлу Петровичу. Встретил он с испугом, должно быть, лицо у меня было особенное.

— Ты чего, Маша? Аль что нехорошее случилось?

— Моготы,—говорю,—нет, Павел Петрович. Богадельня у нас, что ли? Звони,—говорю,—в район: надо новое правление выбирать.

Смеется, подмигивает:

— Ну, вот,—говорит,—растерялась, «караул» закричала. Разве так можно! Разве,—говорит,—это—трудности? Трудности еще впереди. Это — не трудности, а комедия. Выборы выборами, а ты веди свою линию, собери около себя способных людей и — жарь себе на всех парах.

А я, верно это, очень даже нервная и горячая. Слезы даже, бывает, брызнут из глаз—только не от слабости, а от упрямого сердца.

Вбегаю после этого разговора в правление, а старики бормочут и к месту приросли: ясное дело, сговорились измором меня выжить. Ну, я их как кипятком ошпарила:

— Я,—говорю,—с вами по-доброму, с почтеньем к вашей старости обходилась. А теперь не посмотрю, что вы седые да лысые, да членами правления колхоза находитесь. Ежели,—говорю,—свои обязанности не будете выполнять, с вас взывется!

Тут дед Митрий — на меня: весь трясется — и борода, и брови, и портки.

— Ты кто такая, чтобы над нами распоряжаться? Грамотная какая... образованная!.. Нас народ выбирал...

— Вас народ выбирал, потому что верил, что вы этому народу служить будете, не щадя сил. А вы баклуши бьете. Старики! Хозяева! Выбирают не для почета, а для работы. Не место красит человека, а человек — место. А вы это ответственное место позорите. Нам бы у вас учиться надо, а вы только кряхтите да мух гоняете. Меня в правление-то партия послала... партия и война.... грозное вре-

мя... поняли? Выполним хлебозаготовку и осенний сев — не ваша это будет заслуга, а наша...

Должно быть, я страшная была: помню, сила во мне хлопотала, гнев большой, и они передо мною ужасно были маленькие. Опамятовалась я, гляжу, а их уж нет: как дым растаяли. И до чего смешно мне стало: стою и хохочу, удержаться не могу!..

Деньки стояли сухие, солнечные, синие. Я с зорькой вставала и сейчас же — в правление: там бригадиры и звеньевые собирались. Столпимся на крыльце и говорим, как вчера люди работали, кто старался, кто кого перегнал, кто не вышел на работу да почему не вышел. И тут же, конечно, не без злого язычка: кто на какие хитрости пукался, чтобы отлынить от работы и домой удрать. А вот Параха всех за пояс заткнула: сжала или связала снопов больше раза в два, а Олёнка села на жатку и лучше любого мужика косила, и всё — как под гребеночку... Я, конечно, похваливала их от сердца и нарочно спрашивала всех, как Паруху и Олёну наградить, какую премию выдать. А потом намекала, что, ежели так наши женщины отличаться будут, район заинтересуется. Напишем, мол, в армию — уведомим наших бойцов, как и кто у нас за рекорды держится, чтобы и там порадовались. И тут же обязательно похвалим и Маланью. Стоит она в сторонке, угрюмая, нелюдимая, молчаливая, ни на кого не смотрит: все о чем-то думает и словно замышляет что-то.

А однажды эдак пригласила я нашу воспитательницу — старую учительницу, которая детские ясли да площадки организовала, чтобы рассказала, как о детях заботятся, как их кормят и забавляют. Очень это всем понравилось. А другую учительницу заставила рассказать нам, какие дела происходят на фронте. Наши тогда отступали, город за городом сдавали: очень было тяжело, сердце чернело, душа стонала. Ну, учительница, комсомолка, кудрявенькая, из колхозниц вышла, ловко умела все объяснить и доказать, что захватить много земли — не значит победить. Расскажет, как немцы наших крестьян мучают, как детишек и стариков истребляют, как из своих домов выгоняют. Ежели бы не сражались наши бойцы, немец и сюда бы к нам ворвался и то же самое понаделал бы... не миновать бы и нам горя и беды. Комсомолка, Анна Ивановна, увлекательно рассказывала: все слушали, затаив дыхание. А она кудри рукой откидывает, глаза блестят, и

вся душа у ней клокочет. Мы ее и на поля приглашали, и там она в обед газету прочитывала. А в газетах писалось, как рабочие и инженеры на заводах танки да самолеты, да оружие выделывают, как тысячники появились, как все помогают фронту Ну, а когда она о деревне читала, как называла знакомые колхозы и как там отлично работают, всем завидно становилось. Начинались разговоры: и мы, мол, не хуже других, и мы, мол, можем достижение давать. Тут, явное дело, дразнить начинаешь: у нас, мол, пожалуй, некому и объявиться... Господи, сколько крику бывало! Обижаться начнут, волнуются. А мне этого только и надо. С этого времени начали вызываться: мы столько-то жадим, да нас на кривой не объедешь... и пошло, и пошло...

Только Маланья попрежнему молчала и чем-то мучалась. Со мной она ни разу больше не разговаривала и наряд брала молча. Только лицо у нее было темное, высушенное, а глаза — недобрые. Правда, у всех лица-то были загорелые, обветренные, кожа, как лакированная, но у нее черное какое-то лицо было. Видно, что и сердце у нее обуглилось. Мне было тяжело смотреть на нее, тревога беспокоила: как бы чего она не выкинула. Копится у ней внутри какой-то чад, а накопится — обязательно прорвется. И верно: прорвалось.

У ней было трое ребятишек — от двух до шести годков. В детский сад она их не отдала. Пришла к ней учительница, а она ее вытурила:

— Пускай лучше дома подохнут, а в ваш сад не отдам. Проваливай, чтоб больше я тебя не видела, а придешь — помелом вытуру...

И вот она нет-нет да с поля и убежит. Хватятся — нет ее.

— Ну, наша Маланья опять домой умчалась... — смеялись девчата. — Хвост-то дверью прищемило...

А работала — на зависть: не угонишься за ней. Издали любо-дорого глядеть, но женщины жаловались:

— Ведьмища какая-то — рвет и мечет, злобой вся изошла. Мочи нет. Духота с ней. Часу с ней не проработаешь — досмерти измотаешься. И песня на ум не идет.

Может, это по глупости нашей случилось, а хотели мы насильно добро ей сделать — заботой о детишках ее умягчить. Пришли к ней в избу воспитательницы, забрали

ребятишек, привели в детский сад, вымыли их, накормили-напоили, приласкали И рады они были до невозможности. Развеселились, раскричались, личишки засветились.

Прибежала Маланья с поля домой — пусто. Туда-сюда, зовет, кричит, мечется. Примчалась на площадку у школы и орет:

— Сейчас же домой, чтоб духу вашего здесь не было! Детишки — в рев. К одному, к другому, к третьему — шлепки, тумаки.

Учительница к ней:

— Как вам, Малаша, не стыдно!

А она, как безумная, бросилась на нее и хотела в волосы ей вцепиться, да подбежали другие учительницы, схватили за руки. Кое-как уgomонили ее, а детишек отбить не смогли: притащила она их домой и больше на работу не вышла.

Обсудили мы тут же на поле, как с ней быть, и решили: аванс ей не выдавать, считать ее дезертиром и вне колхоза: насильно, мол, мил не будешь.

Прихожу я как-то на нашу молочную ферму, вижу: стоит с доярками Маланья и шушукается. Заметила меня — отвернулась. А тут — Варя Коноплёва с бумажкой в руках. Брови нахмурены, смотрит в сторону Маланьи сердито. В своем хозяйстве Варя была строгая: каждой корове учет вела, паспорт точный составляла и доярок способных, заботливых да нежных подбирала. И всегда-то с радостью докладывает: такая-то корова на столько-то литров больше молока дала, такая-то доярка так-то да эдак за коровой ухаживает. А тут протягивает мне бумажку и нетерпеливо говорит:

— Известно тебе, что дед Митрий разрешение дает... — и уж не первый раз — заметь! — чтобы отпустить масла и молока вот таким женщинам, как Маланья? Как хочешь, Маша, а я эти бумажки складываю и никому не отпускаю. Митрий и для себя и для Нефеда тоже требует. Маланья мне сейчас скандал сделала; прямо нахально требует кило масла. Я ей отказала, а она раскричалась: грозит жаловаться, что не заботимся о семьях красноармейцев. Ну, да ведь ты сама, Маша, знаешь, что на испуг меня не возьмешь, а на нахальство я сама нахальная.

— Правильно, — говорю, — поступила, Варя. Сейчас

пойду в правление, — говорю, — и приведу в православие нашего старика.

Прихожу в правление, а там опять не продохнешь от самосада. И старички разные и старушки клянчат чего-то. А Митрий сидит, ворчит и этакое богатого хозяйчика изображает. Увидел меня — съежился.

— Ты чего это, — говорю, — Митрий Егорыч, колхозным добром распоряжаешься? Опять бумажки раздаешь? Кто тебе позволил? Вместо того чтобы на поле быть, ты здесь баклуши бьешь да еще маслицем себя с Нефёдом убажашь?

Ух, как он скапустился! Испугался.

— Что ты, что ты, Маша! Я ведь по закону: о красноармейках и о родителях забочусь. Велено внимание им оказывать...

— Ишь, — говорю, — какие вы добрые на общественный счет! Заботой о женах и родителях красноармейцев хотел меня обезоружить! Я тебя, Митрий Егорыч, сама обезоружу.

И еще больше взяла его на испуг.

— А известно тебе, как идет хлебоуборка и хлебозаготовка? Известно, как готовимся к осеннему севу? Наднях приедут секретарь райкома и предрайисполкома, от тебя, как от заместителя предколхоза, доклад и отчет требуют. Готов ты к этому или нет?

— Да ведь это ты должна... тебя сюда на это дело послали... А я чего? Я и слова-то сказать не могу... Сроду оратором не был...

— Нужда заставит — и оратором будешь.

И злость у меня и радость на сердце.

Ну и работали мы! До солнышка начинаешь — затемно кончаешь. Видим, до осени с хлебом не управимся и сев проваливаем. Правда, девчата да подростки и на косилки, и на тракторы сели. Сверх всяких там норм выполняли, — как сейчас говорится. А все же кое-кто из баб на работу не выходили. В ясли, на площадку детей своих несут — выгодно! — а сами — фыр! — с мешками да жбанами на станцию. Страшное дело, как зло нас разбирало. И агитацию вели, и стыдили — нет, ничего не берет. Да еще завизжат на всю улицу. И всё с демагогией: обижаем-де несчастных, прижимаем-де жен фронтовиков. Да я сама, говорю, жена фронтовика, все фронтовички,

а сознают, помогают Красной Армии — работают, не щадя сил. И не говори! Такой шум и гвалт — в ушах свербит.

А Павел Петрович, когда жалуешься ему, все, милый человек, улыбается, словно ты ребенок перед ним.

— Не обращай, — говорит, — внимания, Маша. Все утрясется и придет к знаменателю. Работать да работать с ними надо. Не будет у них трудодней — вот и закричат «караул». Предупреди их. Не послушают — покаются. А пока придется в район обратиться: пускай по раскладке и нам пришлют мобилизованных служащих да студентов.

Я прямо-таки, испугалась этих слов. Ведь этак мы, думаю, только развал в дисциплину внесем. Бездельники насмех поднимут и уж совсем распояшутся.

— Не подождать ли, — говорю, — Павел Петрович? Насчет своих-то надо бы в первую очередь какие-нибудь меры принять. Стыдно ведь.

— Ждать, — говорит, — нельзя — поздно уж будет.

И, как нарочно, в эти самые горячие дни приезжает на машине секретарь райкома с начрайзо. Я на поле была в этот час. А на поле бываешь, всегда руки чешутся: то к одной, то к другой бригаде прибежишь. Больно уж хмельной запах ржи и пшеницы сердце поднимает. Словно золото вокруг волнуется, плещет по косогорьям, огнем горит. А далеко — лес сосновый синееет и дымится. И будто кругом море кипит на солнце, а лес — темные берега. Шумят на горячем ветерке колосья и солома, а в небесах жаворонки заливаются. Господи, что есть еще прекраснее? Собираешь скошенный хлеб в охапку, туго подпоясываешь связлом, а он, сноп-то, как живой, смотрит на тебя и смеется. Честное слово, не шучу: так и чудится, что смеется и шепчет тебе что-то на ухо. В работе этой я очень всегда была жестокая: никогда, бывало, переднего места не уступлю. Бес у меня в крови играет. Вся потом изольешься, сердце колотится, а под ногами земля искрами переливается. Ну, за мной, конечно, женщины и девчата торопятся, смеются, друг дружку подзуживают. А недалеко косилки жужжат, позванивают и грабельцами машут.

Так вот в такой момент прискакал верхом парнишка — Васятка, рассыльный, беловолосый, обгорелый весь, и кричит еще издали:

— Тетя Маша, из райкома на авто приехали, тебя зовут... чтобы сейчас явилась...

Не знаю, почему — сердце у меня ёкнуло и заняло. Ну, думаю, не иначе, проработывать будут, что уборку провалили. Бегу со всех ног к табору, сажусь верхом на лошадь — запрягать некогда — и галопом — в деревню.

Поднимаюсь на крылечко, — у нас сельсовет и правление в одном здании, — а дальше шагу шагнуть не могу: сердце птицей бьется, дышать трудно, ноги подкашиваются. Собралась немножко с духом, вхожу в сени. Из-за двери громкие голоса, веселые такие. Отворяю дверь, хочу показать, что ничего не боюсь, что я — смелая и такая же веселая, как они, и с таким задором:

— Здравствуйте, товарищи! С приездом! Очень даже вам рады.

А Павел Петрович кивает на меня седой своей головой и ласково улыбается.

— Вот она, — говорит, — наша Марья Антоновна Травкина... — И ладошкой этак к себе загребает: — Ну-ка, Маша... Иди-ка сюда на расправу...

Мне-то страшно немного, а храбрюсь, плечо вперед держу. А как услышала это слово «на расправу», опять духом упала. Но виду не показываю. Подхожу к одному, к другому, ручку им пожимаю.

Секретарь был такой коренастенький, чернявенький, волосы торчком, лицо, как спелый жолудь, глаза вприщурочку, пристальные, хитренькие. В гимнастерке. А начрайзо — высокий, тоже в гимнастерке, белобрысый, длинноносый, ходит по комнате, скучный, ни на кого не глядит. Сапоги на нем аккуратные, со скрипчиком.

Посидели маленько, чуток ямолчали, а я дышу быстро, успокоить сердце не могу. Секретарь смотрит на меня, улыбается и говорит:

— Ну, Марья Антоновна, как твои дела?

— Мои, — говорю, — дела, товарищ секретарь, не суть для вас важные. А вот с хлебоуборкой затруднительно.

— С хлебоуборкой, — говорит, — везде затруднительно, не только у вас. Ежели жаловаться хочешь — жалуйся, только не плачь.

Я — в обиду.

— Ежели, — говорю, — плакать захочу, так втихомолку поплачу. А плакать да жаловаться не в моем характере.

Павел Петрович строгонько поглядел на меня, брови серенькие вскинул и прикрикнул:

— Ну, ты, Маша, потише себя держи... Что это за крик, скажи, пожалуйста?

А у самого в лукавых его глазках так чертенята и кувыркаются.

Секретарь перелистывает какую-то ведомость и смеется. А начрайзо уставился мне в глаза и сердито этак:

— Тебе, брат, пальца в рот не клади, — откусишь.

— А что же, — говорю, — и откушу...

— Задорная.

— От задора, — говорю, — не отказываюсь. Рохлей будешь — охомутают.

Тут секретарь стал очень серьезный и выступил вежливо:

— Вот что, Марья Антоновна. Мы о тебе знаем кое-что хорошее. Очень даже ценим твоего мужа, товарища Травкина. Решили мы выдвинуть тебя председателем колхоза. Рекомендовать тебя людям.

Я так и обомлела.

— Да разве это возможно? Товарищи! У меня и силы на такое дело нет. Тут мужикам и то не вмоготу иной раз приходилось... А как же я-то?..

И — в слезы. Реву, а самой стыдно.

А начрайзо в ухо мне ехидно издевается:

— Вот тебе и задорная!.. Задор-то у тебя — в слезах, как видно.

Страсть я его в ту минуту возненавидела. Плачу и огрызаюсь:

— Вы меня, товарищ, не тревожьте. И сядьте подальше, чтоб не вышло неприятности.

Они все даже оглушили меня своим хохотом. А секретарь спрашивает этак ехидненько:

— А скажи-ка, Марья Антоновна, что тебе Максим наказывал при расставаньи?

— Наказывать-то, — говорю, — наказывал, а писем уже больше полгода не шлет...

— Ну, не шлет, — значит, есть причина. Пришлет. А все-таки что он тебе наказывал? Припомни-ка. Ты вот артачишься, робеешь, плачешь, — разве в этом исполнение его наказа? А ведь ты ответила ему: ни тебя, ни себя не обесславлю... Так?

— Это вам Павел Петрович рассказал...

— Кто бы ни рассказал, а вот знаю. Так вот мы и

приехали, чтобы собрание созвать. Кандидатуру твою обсудим и собранию предложим.

Павел Петрович, милый человек, ласково и ответь за меня:

— Она, конечно, согласна. Понятно: волнуется. А ведь по сути дела она и сейчас фактически несет обязанности предколхоза.

— И хорошо несет. А мы ей поможем. Ну, как же, Марья Антоновна?

— Хорошо, — говорю, — согласна. Только ежели не справлюсь...

Тут начрайзо опять резанул меня по сердцу, язва:

— А не справишься — взгреем до седьмого пота. Взыщем по всем статьям.

Разозлилась я и огрызнулась:

— Посмотрим еще, как вы-то помогать будете.

А он даже засмеялся:

— Вот с этого бы и начинала... а не с мокрого места...

Я тоже засмеялась и успокоилась. А потом все им по порядку рассказала, в чем у нас трудности: как правление рассыпалось, как машины плохо работают, как рабочих рук нехватает, как к пахоте мало годных людей и прочее такое. Старичков наших добреньких расписала, не пощадила и Павла Петровича: в такое, мол, горячее время сельсовет пропуска выдает нашим колхозникам на железную дорогу. У нас, мол, кой-какие женщины не к работе интерес имеют, а к торговлишке: старая закваска еще сильно действует. Павел Петрович страшное лицо сделал, а потом засмеялся:

— И меня высекла, а я думал, что не решится нападать на власть. Верно, был грех, а теперь эту волюнку аннулировали...

— Как это аннулировали? — разгорячилась я. — А бабы все-таки гурьбой тянутся чуть свет на станцию да еще лошадей требуют. Я это ликвидировала, но у нас есть сердобольные конюхи, которые исподтишка и подводишки снаряжают. Плохо мы боремся. Вы все хорошие, Павел Петрович, а меня собаками травят. У этих мешочниц таких агитаторов, как Маланья, сколько угодно. Сплетни плетут, как кружева, а сплетня — самая заразная агитация.

Секретарь переглянулся с Павлом Петровичем и с

начрайзо, а когда на меня посмотрел, лицо у него стало строгое, а глаза хитро поддеть меня хотят.

В этот день я словно большой праздник переживала. Сначала мы все вместе на фермы наши ходили, в конюшню, на скотный двор, а потом поехали в машине на поля. Долго ходили мы от звена к звену, а озорник начрайзо всё девчат задирали, и они ему не спускали — зубасто, дерзко отвечали. Он все время восхищался:

— Замечательный народ наши женщины! Да с таким народом чудеса можно делать...

Вечером устроили собрание. Секретарь речь держал — о помощи фронту говорил.

Ну, потом я выступила, Павел Петрович и еще кто-то. Очень даже хороший был вечер: всколыхнулись все, здорово волновались. Маланья назло не пришла на собрание. Заметила я это и решила про себя: ну, я ж тебя сумею взнудать, упрямство твое, как пыль, выбью...

Выбрали новое правление колхоза: я — председатель, а членами — Варя, Анфиса, учительница-комсомолка... один конюх, заботливый такой мужик, скромный... Счетовода — секретарем... Все так и ахнули, когда я предложила кандидатуру Маланьи. Павел Петрович мне сердито шипит в ухо:

— Да ты с ума сошла, Маша! Разве можно такую женщину в члены?

А я упрямо настаиваю:

— Маланья Кирилловна будет работать — ручаюсь. Как почувствует она ответственность, так другим человеком станет.

Слышу со всех сторон:

— Маланья — беглянка... бросила бригаду — удрала...

Тут я и насчет Павла Петровича проехала:

— Вспомните, ведь сам Павел Петрович ее поддерживал... Помочь ей советовал. А чем мы ей помогли?.. Даю слово: на ноги ее поставим.

Спорили долго, я не сдавалась. Правда, большинством в два голоса, а все-таки выбрали ее. И эта моя победа очень даже меня обрадовала, себя почуяла, свой характер: захочу — так и я не последняя сила. Не слово родит человека, а дело. Без крепкой ответственности любой человек с панталыку сбивается. Надо, чтобы у человека всегда сердце от совести ныло. Совесть-то самое главное в человеке и есть. Я это буквально на себе испытываю.

Ну, и стали мы с новой силой работать. В правлении, можно сказать, — бабье царство. Как что, как заминка какая на поле, сейчас же крик, волнение — все ко мне. Ежели что на ходу можно поправить иль толкнуть, бежишь туда, где тонко, чтоб не рвалось. А чаще соберешь женщин, посоветуешься с ними: наперебой стараются предлагать то одно, то другое улучшение. И вот каждую женщину и девушку и мобилизуешь это ее улучшение провести. А им лестно: никогда они не чувствовали такой общественной запряжки.

Детишкам мы хорошее питание устроили и брали в ясли и на площадку только у тех матерей, которые работали. Вызвали мы всех «путешественниц» в правление и сказали: ежели вам, мол, на наше колхозное добро наплевать, а увлекает вас больше интерес спекулировать, объявляем вас саботажницами. Детей, мол, ваших оставляйте при себе — сами о них заботьтесь. И имейте, мол, в виду, что трудодней вам никаких не будет засчитано и ни маковой росинки не получите. Вот и считайте, что вам выгодно: или торговлишка, или честный общественный труд. Будете вместе с нами делить общие трудности и радости — хорошо, не будете — пеняйте на себя...

Батюшки, сколько крику и злобности было! Кой-кто из них сдался, с обидой, с ненавистью, будто их палкой в стойло загоняют. Другие обохалили нас и ушли.

И вот что я заметила. На этот раз Маланья вместе с нами заседала. Сидела в сторонке, как в столбняке: ни слова не проронила, темная вся, как ядом налитая. И по всему видно было, что все эти саботажницы на нее только и поглядывали и этой своей ядовитой чернотой она их словно еще сильнее отравляла. И вот, подумайте, встает она, как туча, мнет пальцами губы, а глаза так и жгут. Помолчала, потопталась и говорит:

— Я вот спросить хочу: кто меня в правление выбирал? Я, — говорит, — не к членам обращаюсь, а вот к собранью, к женщинам, которые здесь сидят.

Ну, наши торговки рады, орут ей:

— Мы не выбирали и даже на собраньи не были. А ежели были бы, так, явное дело, за тебя бы кричали.

— То-то, что кричали бы... Кричать мы ой какие лихие! А почто кричали бы?

И ответить им не дала — горой на них свалилась:

— Не вы, — говорит, — мне душу перевернули, не вам

спасибо скажу, а вот Маше и всем ее помощницам. На меня у вас надежда была, знаю. Да чести мне в этом мало. А я со зла сколь им горя да неприятности причинила. И мне же они, умницы, добром заплатили: зла не помнили, а хорошее во мне, как угольки из загнетки, выбирали и на своих ладошках раздували. Не по злобе я на собрании-то не была, а совести нехватило. Ну, как узнала, что меня выбрали, в доверие ввели, я целые сутки ревмя редела, все сердце себе изгрызла... Так вот, бабочки, скажу вам, как душа велит: ежели хоть одна из вас выйдет с торбой из села, на себе же самой и ездить будет. Ни зернышка не получит и дорогу к колхозу забудет. Собакой бродячей будет шататься. А мужьям в армию распишем: вот, мол, они какие, ваши жены-мироносицы!..

И ко мне обращается:

— Я, Маша, сама с этими барахольщицами хочу рассчитаться: у меня с ними свои счёты есть.

Вот тут-то наши спекулянтки и начали паниковать: одни скисли, а другие по домам разбежались.

Встала я, не утерпела — обняла Машу и со слезами в губы ее расцеловала. И у ней слезы по щекам катились.

Никогда еще в нашем колхозе так не работали, как мы своим женским коллективом. Женщины всегда хозяйственные были: они и домашность справляли, и детей растили-воспитывали, и всех-то обшивали, и за всеми-то ухаживали... Всё на своем горбу несли... Вот сейчас многие из нас общественные обязанности несут, а разве дело-то по домашности изменилось?

Заверяю вас от всего светлого сердца: всё от нас зависит, буквально от нас самих. Захочешь — всё сделаешь. Не для красного словца говорю, подлинно по себе сужу. По охоте да по хорошей воле всякие у нас чудеса можно делать. Взять хоть бы наше Заполье.

Поля-то у нас — неоглядные: солнышко и всходит и закатывается на нашей земле. И озимый и яровой клин большой, паров и зяби поднимаем не мало. И все, бывало, машинами работали. А вот война началась — то того, то другого нет: энтэс оказалась неподкованной — без горячего, без ремонта, а тягло наше поредело: лошадки-то тоже воевать пошли. Куда ни ткнись — везде прорехи да огрехи. А засев был огромный — и озимых, и яровых. Надо было успеть скосить, сжать да обмолотить, а тут время

не ждет: надо было о парах заботиться, осенний сев проводить. Время быстрой речкой текло. Тут и у опытного хозяина сердце-то зашлось бы и в глазах бы помутилось. А нам и подавно: хоть волосы на себе дери. Ну, а положение было такое: раз взялся за гуж, не говори, что не дюж. На это мой Макся любил поговоркой отшучиваться: не тот дюж, кто взялся за гуж, а тот дюж, кто горит за сто душ. А горели-то мы жарко. Сначала-то было очень страшно: ну-ка, этакая махинища свалилась на нашу голову! Перед секретарем-то я поплакала не по бабьей слабости, а от робости: ведь ответственность-то какая!

Вот мы и решили: раз на наши плечи свалилась вся тягота, надо душу, как свечу, зажечь. Напомнила всем слова Макси: тот дюж, кто горит за сто душ. Малашу я замещать себя поставила. А когда она почувствовала свою ответственность, так словно бы заново родилась. Оно всегда так бывает: настоящая-то ответственность для честного человека — всенародное испытание: она под удар его ставит и до гордости честь его возносит. Поставили мы вопрос: надо ли нам из города людей требовать? Справимся ли мы своими силами? И без прений решили: не надо. Не успели, мол, хозяйство в свои руки взять, а уж «караул» закричали. Павел Петрович усмехался и головой качал: смотрите, мол, не очень-то на себя надейтесь, как бы впросак не попасть... Малаша первая голос подала:

— Пустые мы будем балаболки, ежели городских звать будем. Да нас весь народ насмех поднимет. Стариков, старух, подростков собьем...

Как пошла по деревне из избы в избу, как начала по сердцу, по совести стегать — боже мой! — все от мала до велика валом повалили. И никого-то с глаз своих не спускает. Видит, что кто-то из барахольщиц турусы на колесах разводит, тут она, как из-под земли:

— Ты чо же это, матушка, зерно-то свое сквозь пальцы пропускаешь? Другие, милая, подберут, не побрезгают. Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Гляди, как бы не наревелась после времени: пенять будет не на кого...

Твердую линию взяла: ни себе, ни другим никакого снисхождения не допускала. Старички-то наши, правленцы бывшие, а особливо плотник да кузнец в ремонтной мастерской, оба такие же седые да чванные, так возгордились, такими себя заслуженными да незаменимыми счита-

ли, что в обычай себе взяли прогуливать и тайком самогонишко гнать. Один раз прогуляли два дня, другой раз — три дня, а когда учитывать их стали, потребовали прогулы их оплачивать. Конечное дело, отказали им, а они возьми да сразу на четыре дня забастовали: пускай других на наше место поищут, — мастеров-то нет, без нас завоюют бабёнки-то... А бывшие правленцы — дед Митрий и Нефёдицифролюб — попривыкли распоряжаться, к трудной работе не способны, подчиняться бабам не хочется — зазорно. Тут Малаша-то и показала себя. Врывается в мастерскую — никого, бежит по домам — никого. Пробегает мимо пожарного сарая, видит: сидят там наши старички и самогончик распивают, в шашки дуются. Без всякой опасности вихрем она туда влетает и кричит:

— Ах, вы, — говорит, — бездельники! Ах, дармоеды! Да я, — говорит, — ни одного часа в своей черной жизни без труда да без забот не провела, а вы привыкли только на бабьих плечах ездить... Вот как вы здесь горячее время проводите! Самогон глохтаете да в нужники играете!..

Стали было они перед людьми бунтовать и Малашу охалить, а их первых же насмех подняли. Да и себе все на носу зарубили: с ней шуток не шути, и себе — убыток, и на все село — бесславые.

Так мы и лето закончили, так и осень начали: уборку хлеба, по правде сказать, малость затянули, а план все ж таки выполнили. Зато вспахали да посеяли во-время, хоть энтээс тракторами нас очень даже не побаловала: больше на лошадаках и даже на коровках вспашку проводили.

Старики и старушки да разные там обозленные ябедники вслух каркали:

— От шабра не жди добра, а от баб — только одни блохи, да и те плохи. Разве можно без мужика хозяйство вести? А сейчас, когда земля-то не в личных интересах, без мужика да старика всё в разлад пойдёт. Когда это видано, чтобы бабёнки распоряжались! Они, как куры: переключаются и разбредутся в разные стороны. Дай срок, и лядащему петуху будут рады.

Эти сплетки да пересуды нас не дюже расстраивали: пускай дуботолки языки почешут. Боялись-то мы больше смуты да подпольщины. А после расправы Малаши пошла все-таки подозрительная канитель. Начали нам пакости делать. Утречком, как только придешь в правление, и на

крыльцо нельзя подняться: какая-то шваль все ступеньки дерьмом обгадит.

Потолковали мы с Варей да Малашей об этих ночных происшествиях, посмеялись и плюнули: уймутся злыдни!

Ну, мой рассказ к концу подходит.

Зимой вызывают меня с Павлом Петровичем в район. Секретарь еще издали засмеялся и сам из-за стола на встречу нам вышел.

— А-а, вот она, наша Маша из Заполя!

Поздоровался и около себя посадил.

— Ну, — говорит, — Маша, спасибо: работала ты не в пример хорошо. Скажи, чем тебя обрадовать?

— А вы, — говорю, — и так меня обрадовали.

— Это чем же, — говорит, — я тебя обрадовал?

— А лаской да приветом.

— Ну, — говорит, — из этого шубы не сошьешь. — И смеется. — Тебе, — говорит, — лично должен я вручить почетную грамоту обкома партии да отрез креп-де-шина. Сшей себе роскошное платье и носи.

— Вы, — говорю, — так меня ужасно взволновали, что я даже с сердцем не совладаю. Зачем, — говорю, — мне ваш креп-де-шин-то? В нашей работе не до креп-де-шину. Вы уж лучше этот креп-де-шин какой-нибудь наградой замените для наших активных женщин — для Малаши, для Вари... да вот, мол, и Павла Петровича нашего не забудьте...

— Да ты, — говорит, — о них не беспокойся: о них уже побеспокоились.

И всё радуется, всё смеется да с Павлом Петровичем перемигивается. Заметила я это и на Павла Петровича:

— Да ты-то, Павел Петрович, знал, что ли, об этом?

— А как же, — говорит, — доподлинно знал.

— Так почему же ты мне-то не сказал?

— Потому, — говорит, — что дорого яичко к светлomu дню. Тем-то и подарок дорог, что он — неожиданный-негаданный.

И вот в это-то время я вдруг и ослабла. Терпела, терпела, да в один день и подкосило меня. Варя-то от Терентия нет-нет да и получит весточку. И Анфиса тоже. Даже мужнишко Малашин кой-что ей нацарапает. Терентий с первых дней с Максей разлучился и сам в письмах просил прислать ему номер полевой его почты. А от Макси давным-то давно — ни единой строчки. Стала я нервничать: сердце кипело, кровью обливалось. Получит Варя письмо,

прибежит, счастливая, разговорчивая, читает — захлебывается, а мне это ее письмо — нож острый. Не выдержала я однажды и разрыдалась. Варя испугалась даже, захопотала около меня, а я и света не вижу. И так я затосковала, что сама не своя стала. Одна меня дума гложет: нет моего Макси, убили моего Максю, не увижу я его больше никогда. Побежала я к Павлу Петровичу, упала перед ним на стол и навзрыд плачу, а он, как отец, гладит меня по голове и журит:

— Нельзя так распускать себя, Маша: ты — общественная работница, ты — сила. Ты должна пример крепости показывать: ведь по тебе все равняются. Что же будет, ежели ты слабость души покажешь? В том-то, — говорит, — и сила наша, что мы в лихую годину духом непреклонны и твердо шагаем через личное наше горе. Не забывай, — говорит, — что враг-то здорово расчеты свои строит на нашей растерянности. Так еще ничего не известно. Может, Максиму и писать-то тебе нельзя. Подумала ты над этим?

Все же начал Павел Петрович справки наводить, а к новому году извещение пришло: Макся в строю не числится, среди убитых нет, и, где он, — неизвестно: пропал без вести. Сказал мне об этом Павел Петрович и так закончил:

— Тут только может быть такой ответ, Маша: или он — в плену, или в окружении, или у партизан. Надо не умирать, а ждать.

Не помню уж, как я до дому добралась, не помню, что со мной было. Когда немножко прояснилось у меня в голове, вижу — рядом со мной у кровати сидит Дунярка и на голову мне полотенце кладет. И бледненькая, глаза большие. Заметила, что я в себя пришла, бросилась ко мне на грудь, засмеялась, заплакала.

— Мама, мама моя! Как я испугалась-то!.. Уж я думала, что ты умирать собралась... Да разве это возможно!.. А как бы я без тебя жить-то стала?.. Папаня вернется да спросит: как же это так?..

Прижала я к себе Дунярку и заплакала.

— Как же нам, Дунюшка, быть-то? Папаня-то наш пропал... без вести... Может, немцы его истерзали, а может, в плену — под палками, под прикладами...

А она этак исподлобья глядит на меня, а слезы-то на щеках, как горошины. Да вдруг крикнет, как большая:

— Ну, чего это ты, мамка! Да разве папаня-то в руки немцам дастся? Да в жизнь этого не будет!

И этим своим гневным криком Дунярка меня на ноги поставила. Целую ее, обнимаю, смеюсь, а мне стыдно ей в глазенки глядеть. Ишь, как расквасилась, что даже дочка тебя хлестать начинает!..

Встряхнулась я, прибодрилась, схватила в охапку Дунярку и давай ее мять да целовать.

— Ах ты, моя утешительница!.. Умница моя, радость моя!..

Побежала я в правление: надо дело делать, надо людям себя показать, чтобы увидели, что горе меня не подкосило. На крыльце и в комнатах — народу не в проход. Все глаза на меня уставили: одни — заплакать непрочь, другие — с любопытством, как я поведу себя. А я иду, голову высоко держу, хозяйским глазом всех проверяю. И чувствую я, что как-то даже сильнее прежнего стала, будто горе мое, как огнем, меня обожгло. Все даже при молкли и сразу характер мой почували. А в комнате правления встретили меня и Варя, и Маша, и Павел Петрович, — встретили растревоженные и обрадованные. Так все и бросились ко мне.

— Ну, вот и наша Маша пришла!.. Всё — в порядке.

Маша впервые ко мне со слезами кинулась.

— Только, — говорит, — сейчас, Машенька, я цену тебе узнала. Теперь, — говорит, — я с тобой — и в огонь и в воду...

А Варя мне ничего не сказала, а только хорошо так улыбнулась.

Вот как мы дружбу повели, вот как сердцем и душой зрели, вот как в этой дружбе нашей и силу ковали...

ЗАВЕТ ОТЦА

I

Из деревни Степаша был взят в ремесленную школу еще летом, вскоре после ухода отца в армию. Отец прощался как-то раздражительно, торопливо, запыхавшись, и все повторял:

— Некогда, некогда!.. Каждая минута — на счету...

Мать плакала покорно, молча, и обветренное, темное лицо ее распухло от слез. Дрожащими руками укладывала в сундучок бельишко, хлеб, вареную курицу и еще какие-то мелочи. А когда настала минута расставанья, отец сконфузился, стал беспокойно оглядываться и, улыбаясь, сказал:

— Ну, мать... ну, ребяташки... прощайте!..

Мать бросилась ему на шею и зарыдала. А он, не обращая на нее внимания, подмигнул Степану, прижал к себе двенадцатилетнего Сёмку и дочурку Аксютку и необычно ласково проговорил:

— А вы, ребята, не ревите. Держитесь крепче. Матери всегда плачут — они это любят. Учитесь, да чтоб хорошо. Ты, Степаша, за меня остаешься — не подкачай, не ленись. Чтоб в колхозе на вас с Сёмкой не жаловались. Тебе, Степаша, шестнадцатый год: подпирай меня здесь, чтоб на фронте мне легче было. Немцев иду бить. Когда вернусь — неизвестно, а ежели вернусь — чтоб мне стыдно за тебя не было. А сейчас провожайте меня до правления.

Отец был еще молодой, веселый, с постоянной, непугающей усмешкой в глазах, точно в людях и в вещах он видел всегда что-то новое и занятное.

В городе Степаша не был никогда, и на вокзале сразу же ошеломили его толпы людей. Ему стало страшно: вот-вот эти толпы ринутся на него — сомнут и растопчут. Среди большущих, многоэтажных домов, в которых живут тысячи людей, среди грохочущих трамваев и ревущих машин ему стало так тоскливо и таким он почувствовал себя маленьким и сиротливым, что хотелось вырваться из кучи ребят и убежать без оглядки в деревню.

Всех их увели за город, в сосновый лес, где стояли кирпичные дома, такие же многоэтажные, как в городе, и поместили в общежитии.

В комнате с четырьмя койками он ощутил ту же одинокость и сиротливость, которую он испытывал и на вокзале и в городе. На него никто не обращал внимания, и он не знал, что делать. В комнате было душно, неудобно: на полу был сор и грязь, постели не убирались, лампочка на пыльном шнуре, мохнатом от мух, была пестрой от мушиных точек. И от этого Степаше стало так нехорошо на душе, что хотелось заплакать. Мучительно было вспоминать, как мать плакала, собирая его в путь, — плакала она больше, чем тогда, когда провожала отца, и в покорном ее горе была и обида и отчаяние. А сказала она на прощанье кротко и жалостно:

— Жить-то как будем сейчас, Степашенька? Отца-то уж больше, может, и не увидим. Ты — тоже отрезанный лоскут. Одна я осталась с Семашкой да Аксюткой...

Он глухо и хмуро ответил:

— Ну, будет, мамка! Чай, я не на смерть еду... Ведь мастерству учиться...

— Ты только, Степашенька, помни, что отец тебе наказывал: чтоб стыдно ему не было, ежели домой вернется...

И оттого, что она смотрела на него сквозь слезы с верой и мольбой, ему было донельзя жалко и ее и себя.

Потом, уже в дороге, в вагоне, среди ребятни из окружающих районов, успокоился немного — по привычке. Ребят было набито в теплушку человек тридцать, и вагон дрожал от топота, гама и суматохи: одни играли в карты, другие лежали по углам, как Степаша, скучные и унылые. Он тесно держался около двоих парнишек из их деревни и никогда, кажется, не чувствовал к ним такой привязанности, как в эти часы, даже в школе, где они учились вместе, не было такой близости.

В общежитии в первый же день повели их в баню, остригли под машинку, и Степаша почему-то дрожал в ознобе от холодного металла машинки. В густом пару, в плеске воды, в брызгах и удушливом запахе мыла, голые ребята с криком и смехом мыли головы, обливались из шаек и, сталкиваясь друг с другом, скользко и мягко отлетали в стороны. Кое-где мальчишки натирали один другому спины мочалками и рычали от наслаждения. Кое-где дрались из-за шаек. Кто-то пел парнишечьим басом: «Ревела буря, гром гремел...»

Степаша долго не мог найти шайки и ждал, когда она освободится. Он стоял около двух ребят, которые натирались мылом, и с обидой думал: вот они — моложе его, а смелее и ловчее: шайку-то добыли сразу. Он же терпеливо и смиренно ждет, когда они вымоются. Они озорно переглядываются и скалят зубы: пускай, мол, этот бычок постоит перед нами — душу из него вымотаем. Не поспел во-время, не умел подхватить шайку в момент налета, — пеняй на себя. Он видел, что ребяташки нарочно тянут, не торопятся, хохочут, шлепают друг друга по намыленным спинам и делают вид, что не замечают его. Они явно издевались над ним. Он не утерпел и сердито крикнул:

— Долго вы, что ли, прохлаждаться-то будете? Не вы одни моетесь. Кончайте базар!

А мальчишки опять озорно переглянулись и визгливо захохотали.

— Слышите вы!.. Кончайте, говорю!..

Но они уже вызывающе разлеглись на скамье и вцепились в края шайки. Большеголовый парнишка, делая вид, что дремлет, лениво протянул баском:

— Пашка, рассказывай сказку... чтоб на полчаса хватило.

У Степаша как будто сердце лопнуло и вся кровь бросилась в лицо. Он схватил шайку и вырвал ее из рук мальчишек.

В этот момент он почувствовал, что кто-то спокойно и властно оторвал его руку от шайки, а насмешливый голос сказал:

— Ты, деревня, сейчас мне будешь растирать спину. Шагай! Будь готов к труду и обороне.

Кругом хохотали. Кто-то шлепнул Степашу по спине. кто-то ударил его в зад.

Никогда еще Степаша не испытывал такого стыда и

обиды. Всяко бывало в деревне: и побьют на кулачках, и налетят озорники, когда придешь в заречную сторону деревни. Но там он знал, как защищаться, и никогда не давал себя в обиду. Здесь же все — чужие, и дерзость их — чужая: внезапная, ошеломляющая. Он отшиб руку парня и пихнул его ногою в икры. Парень грохнулся на пол. Шайка с дряблым звоном отлетела в сторону. Степаша неторопливо подошел к шайке, поднял ее за ушко и пошел к крану.

— Хо-хо!.. — восторженно крикнул кто-то рядом со Степашей. — Bravo! Танк Огузкова подбили... Без гусеницы прочертил три метра... Сдавайся, Огузков!..

С улыбочкой озорника, парень, которого называли Огузковым, вскочил с пола и уверенно зашагал к Степаше.

— Ну-ка, шайку сюда, жук навозный! Теперь уж я тебя подрессирую...

Степаша почувствовал, что этот красавчик, как опытный и избалованный хулиган, даст ему выволочку — нарочно перед толпой ребят постарается опрокинуть его и сделать смешным и жалким. Степаша инстинктивно приготовился, зорко наблюдая за парнем. Но тот требовательно протянул руку за шайкой и повелительно кивнул рыжей головой, уверенный, что колхозник покорно подчинится ему.

— Не лезь!.. — угрожающе крикнул Степаша, бледный, с злыми глазами.

Вокруг столпились ребята — одни с намыленными головами, другие с мочалками в руках. Они с лихорадочным любопытством смотрели и на Огузкова и на Степашу и ждали, чем кончится эта борьба.

Вместо того чтобы напасть на него, Огузков протянул ему руку.

— Давай лапу, колхозник! Люблю вежливых людей и приятное знакомство. Ты — моего поля ягода: с тобой столкнемся.

Степаша исподлобья взглянул на него и пошел со своей шайкой к крану. Ребята завистливо провожали его глазами и угодливо переговаривались:

— Вот это — здорово!..

— Ха, битва комара с барбосом...

— А чего всамделе: пускай не лезет с оглоблями... Я бы ему — шайкой по башке...

В комнате общежития помещалось, кроме Степаши, трое парней: двое новеньких и один — «старик». Вечером, когда «старик» пришел с работы, с грязным, сальным лицом и черными руками, с мокрыми волосами, прилипшими ко лбу, он поразил Степашу: хотя лицо его с длинным и немножко кривым носом было худым, а глаза, зеленые и остренькие, глубоко ушли под брови, туловище у него оказалось непомерно разбухшим и тяжелым. Он остановился у двери и сделал испуганное лицо.

— Это куда я попал? — в ужасе крикнул он и попятился. — Шел в комнату, попал в другую...

Но сразу же широко улыбнулся и хлопнул себя ладонью по лбу.

— Ну, конечное дело! Это — новобранцы. Сырье! Заготовки!

Степаша стоял у открытого окна и с тоскою смотрел на оранжевые стволы сосен, освещенные заходящим солнцем, на зеленые щетки хвои, на кирпичные стены другого здания справа, скучные и чужие. Парень не понравился ему: чем-то он напоминал того Огузкова, с которым он подрался в бане. Парень бросил фуражку на стол и с насмешливой прищуркой прошелся по комнате.

— Колхозники? Все трое? Значит, вселили под мое влияние? Я уже второй набор влияю. Зовут меня — Дорошенко, Костя. Запомните.

Он хотел щелкнуть Степашу по голому черепу, но Степаша отбросил его руку и приготовился к бою.

— Ого! — удивился Дорошенко и с притворным испугом сделал шаг назад. — Ратуйте, хлопцы! Вин хоче мене вбиты...

Парнишки прыснули. Дорошенко хлопнул по спине Степашу.

— Правильно, браток. Крепко держи свой рубеж.

Он сам взял руку Степаши, шлепнул по его ладони и крепко сдавил его пальцы. Потом вприщурку посмотрел на него и скосил рот от усмешки (рот у него был сдвинут к правой щеке).

— Ну-с, пойду умываться. Главное, надо соблюдать чистоту. В нашем заводском труде копать и грязь въедается в кожу. Недопустимо, чтобы тело ржавело.

Он скинул засаленную куртку, под курткой оказался

пиджак, под пиджаком — рубаха, под рубахой — другая рубаха, потом — третья и наконец — тельняшка. Ребятишки следили за ним, не отрываясь, и глаза их наливались смехом.

— Капуста! — с веселым изумлением вскрикнули они наперебой. — Ого! сорок одежек!..

Но Дорошенко не обращал на них внимания и, напевая гнусаво, стал снимать штаны. И тут оказалось, что под засаленными брюками были другие брюки.

— А сколько у тебя подштанников? — лукаво спросил один из парнишек.

Дорошенко скривил рот в сторону и подмигнул ему.

— А тебе завидно? Я — сам капитан, мне не нужен чемодан... — ответил он как будто нарочно стихами.

Что-то в нем было привлекательное, легкое, дружелюбное. Даже его болтовня казалась простодушной игрой. Он как будто сам относился к своим словам, как к занятым пустякам. Эти слова вылетали, как мыльные пузыри: вылетят, блеснут радугой и лопнут. Он не только играл языком, но и руками: снимет одну рубашку — сделает руками какую-то быструю запутанную фигуру, как фокусник, снимет другую — еще более замысловато жонглирует перед своими глазами. А когда снимал одни брюки, потом — другие, сделал вид, что он бросается в воду. И всё это проделывал с серьезным, сосредоточенным видом. Ему было лет девятнадцать, но лицо его, с запавшими глазами, с высоким лбом, было лицом пожилого человека.

— Нет, всурьез, Дорошенко, — заинтересовался Степаша: — Зачем ты все это на себя накручиваешь? Я думал, ты такой толстый, когда вошел, а это на тебе — веретьё.

Теперь, в одной нижней рубахе, Дорошенко стал тощим, но ладно сбитым, большеруким. Он быстро свернул из газеты папироску, всунул в длинный самодельный мундштук и вынул из кармана штанов зажигалку в виде снаряда.

— Старая привычка, колхозник, — ухмыльнулся он. — С незапамятных времен... А привычки — въедливы. Когда-то я накручивал на себя всякое барахло, чтобы тепло было под вольным небом, — в сорных ящиках, в бункерах, в теплушках... Это — целая история гамэна... Читал Гюго?.. Но речь моя прерывается: бегу под душ.

Занятный парень! Такого разбитного и уверенного в себе человека Степаша встречал впервые. Он вышел в коридор и увидел, как Дорошенко с полотенцем на плече стремительно шагал в толпе подростков, высоко подняв голову, и напевал в такт своим шагам:

Идет война народная,
Священная война...

И не забывал поворошить волосы парнишек, которые попадались ему под руку.

Сейчас в деревне все люди в поле: начали косить рожь в долине, вверх по речке... На склоне горы желтые волны хлебов бегут вслед за ним, и золотые колосья кланяются ему в последний раз. И эти близкие и далекие волны похожи на полыхающее пламя. За околицей, на песке, у самой речки, лежат разноцветные коровы и сонно жуют жвачку.

Он вздохнул и повернулся к двери.

«Письмо надо послать домой...»

Двое ребят, его соседи, спрашивали что-то у него, но он ничего не слышал. А когда вспомнил о них, они уже куда-то исчезли. Какие скучные и тяжелые эти длинные стены в коридоре, плисовые от пыли, с частыми впадинами дверей по обе стороны! Двери поминутно отворяются, визжат, хлопают, выходят ребяташки в коридор, из коридора опять в двери, кричат, хохочут, как будто им очень весело... Неужели придется ему прожить в этих стенах многие месяцы?

К нему подошли те самые ребята, у которых он отобрал шайку. Лица их казались еще озорнее, чем в бане. Они, как по команде, отдали ему честь и крикнули во всю глотку:

Сел на чэрпела верхом,
Д' на чечуху кувырком...
Вот как я имя!..

И сразу залились хохотом. Потом изображали солдат: круто повернули кругом марш.

Вот если бы они в деревню приехали, их встретили бы без озорства и обиды.

Он опять вошел в комнатку, и, когда увидел в распахнутом окне кудрявую зелень сосен и берез, синее небо в белых облачках и солнечный воздух, ему до боли захоте-

лось уйти из этого здания и убежать далеко в лес. В поле сейчас — жнитво, махают грабелями жатки, женщины вяжут снопы, а спелая рожь и близко и далеко искрится золотом, и медленно гуляют на ней волны, вспыхивая и потухая. Пахнет свежей соломой и горячей землей. И как радостно заливаются невидимые жаворонки в голубой вышине — не наслушаешься. И горы густо зеленеют лесами, а на голых склонах огромными глыбами лежат бурые камни, и среди них по одной, по две тянутся вверх корявые сосенки. Хорошо! Рокочут молотилки, вихрями взлетает солома, ярко играют на солнце разноцветные платки и кофты женщин, и, как золотые волны на несжатых хлебах, плывут всюду песни девчат.

Мать тоже работает в поле и думает о нем, об отце... Где-то теперь папашка? Писем от него еще не было. Может быть, он уже убит и труп его раздавлен немецкими танками?.. Или, может быть, он сделался снайпером и срезает немцев одного за другим меткими выстрелами?.. Ведь он, папашка, один из лучших охотников в деревне: каждую зиму он белковал по целым месяцам, зверя привозил домой возами — и кучи серебристых белок, и огненных лис, и мохнатые туши медведей...

В комнату, напевая песню, влетел Дорошенко, продолжая вытираться полотенцем. Лицо у него стало ясным и ядреным. Причесывая свою шевелюру, он словоохотливо говорил:

— Ну, как, колхозник? Судя по физике, скучаешь. Ничего, стерпитсЯ-слЮбитсЯ... Один поэт сказал: «жизнь жертв искупительных просит...» А Шевченко требует: «Не дай спаты ходячому, сердцем замираты...» Шевченко жил в неволе, в кандалах, страдал много... А зверски боролся за счастье, за свободу... Главное, держись уверенно: ты не хуже, не слабее других... Хочешь работать со мной?

— Очень даже...

— Ты — парнишка коренастый, выносливый. Только знай, что работа у меня адова: прокатка. Я люблю работу тяжелую: если я силы свои не трачу на работе, я дурею, и в голову лезет всякая идиотская блажь. А в свободное время стихи разных авторов читаю. Я тоже учился, а теперь... теперь, браток, я — помощник мастера... шишка! Впрочем, тебе придется здесь покорпеть: в мастерских поработать — сразу на завод не пускают...

Неожиданно для Степаши Дорошенко с сердитым лицом

стал выделывать разные фигуры: приседать, выбрасывать руки, сгибаться и, опираясь на край стола, падать на него грудью и подниматься. Лицо у него налилось кровью, глаза осовели, и ноздри широко раздувались. Степашу разбирал смех. Сопя от усталости, Дорошенко авторитетно предупредил его:

— Знаменитая вещь! Я тебя обязательно выучу. Надо делать это каждое утро, как продерешь глаза. Зарядка разряжает дурноту, заставляет бороться с собой.

Он стал опять надевать на себя свои рубахи и брюки, которые грудой лежали на койке. А грязную, засаленную блузу и жухлые штаны повесил на гвоздь и закрыл их газетой. Он как будто только сейчас заметил грязь и сор в комнате и покачал головой.

— А вот грязищу вывести никак не можем... Влиял тут плохо...

Степаша деловито сказал:

— Я приберу... и пол вымою...

— Чудно! Мы сразу поняли друг друга... Всегда, брат, нажимай там, где выпирает... и все будет в порядке... Пойдем обедать!

III

В первые дни новичков держали в общежитии: распределяли их по группам, водили по мастерским, знакомили с внутренним распорядком. В просторной комнате с множеством столиков и стульев молоденькая курносая учительница в белом шлыке вызывала их к классной доске и заставляла складывать, умножать и делить многозначные числа. Когда кто-нибудь из ребят в затруднении чесал затылок, она громко смеялась. Степаша отвечал степенно, уверенно, деловито.

— О, да ты у нас — студент! — засмеялась девушка. — Может быть, ты и дроби знаешь?

Степаша обиженно ответил, как взрослый, которого, по заблуждению, посчитали за ребенка:

— Я и геометрию знаю.

— А ну-ка, ну-ка!.. — заинтересовалась учительница и лукаво поглядела на ребят. — Докажи-ка мне первый случай равенства треугольников!

Степаша неторопливо начертил два треугольника, сказал теорему и основательно приступил к делу. Учительни-

ца проследила за ним до конца. Когда он с озабоченным видом заключил: «Что и требовалось доказать», учительница уже серьезно сказала ему:

— Отлично! В этой группе тебе нечего делать. Организуем группу повышенных знаний — будешь работать там.

Степаша с ранних лет привык относиться к работе честно, почтительно. Он видел, как отец, веселый и притягателный человек, который любил и пошутить и посмеяться, даже навоз на дворе чистил строго и истово. А когда брал в руки топор, лицо его становилось вдумчивым и торжественным. Он плевал в ладони, перекладывал топорщице из одной руки в другую, оглядывался, вскидывал глаза к небу, и Степаше казалось, что он молится в эту минуту. И что бы он ни делал, — запрягал ли лошадь, тесал ли кол для прясла, пахал ли на колхозном поле, — всё выходило у него ловко, вкусно, увлекательно. Степаша любил видеть отца за работой, и ему хотелось самому делать так же просто и ловко. И, когда отец ласково заставлял подмести двор или дать корму корове, он старался делать точь в точь так же, как отец. Он старательно подбирал упавшие клочки сена, бережно сметал со стола крошки хлеба и бросал их в рот. Его тянуло делать что-нибудь интересное, на удивление всем. Он брал нож, молоток, пилу и строил ветряк или толчею, или водяную мельницу. Ветряк с большим колесом и шестернями он ставил на ветер и радостно любовался, как машут крылья, как играют шестерни и крутится маховое колесо. И долго смотрел, как водяное колесо в ручье, внизу, у бани, быстро вращается под напором воды, как быстро кружится жернов, как толкачи поднимают и сбрасывают один за другим песты толчей. Сёмка и Аксютка замирали, пораженные чудесным его мастерством, и бесились от счастья, когда он дарил им свои изделия. Отец хвалил его, похлопывал по спине, и Степаша видел в его улыбающихся глазах любовь и гордость.

— Ух, молодчина какой! Важно! Вот видишь? От труда, брат, человек богаче бывает: умнее и сильнее. На бездельнике — всегда рвань да брань, а хвала всегда трудом жила. Так, сынок, дедушка твой, бывало, говаривал.

И Степаше было приятно слушать эти слова: он хорошо понимал их мудрое значение.

В пятнадцать лет Степаша был уже самосильным работником и мог выполнять в колхозе и в своем хозяйстве

всякую работу. А когда отец ушел на войну, он заменил его, как взрослый: все, что поручалось ему, делал бойко и основательно. И всегда помнил прощальный наказ отца:

— Когда вернусь — неизвестно. А вернусь, — чтоб мне стыдно за тебя не было.

В мастерских он видел причудливые станки, какие-то сложные машины, и ему было любопытно смотреть на них. Он и в колхозе любил машины, и его тянуло к ним. Он научился управлять трактором, помогал кузнецу и слесарю, разбирал и собирал механизмы молотилки и жатки во время ремонта. Поехал он в ремесленное училище, пожалуй, с охотой: он мечтал сделаться квалифицированным мастером, — таким мастером, чтобы в руках у него и станок, и инструменты играли, как музыка.

На завод к Дорошенко он не попал, а зачислили его в группу слесарей. Мастер, товарищ Шашкин, маленький, щупленький человек, с закопченным лицом, с черными густыми бровями через весь лоб, с глазами, похожими на ледяшки, собрал их в мастерской, в подвале общежития, и сердито, по-солдатски, стал объяснять им инструкцию внутреннего распорядка. Он стоял в середине толпы ребят, вертелся в разные стороны и говорил, как они должны вести себя в мастерской, в общежитии, в цехе, на улице, как обязаны соблюдать чистоту, как носить и сохранять обмундирование, как держать себя с директором, с мастером, друг с другом.

— Требовать буду жестоко!.. — крикнул он, ударя на первый слог в слове «жестоко». — Дисциплина — это военный закон. Шадить не буду. Война. Во время войны не миндальничают. И я лимонничать не буду. Вяли? Понятно? Жестоко отвечаете.

Он поминутно шикал сквозь зубы и двигал лбом вверх и вниз.

Ребятишки молчали. Шашкин построил их попарно и начал разводить каждую пару по местам. Степаша оказался вместе с Огузковым. Парень скорчил гримасу, точно съел что-то кислое, и забормотал гнусаво:

— Мал кутенок, а лает, как полкан. Видал, как он шипит и лбом козырек делает? Этого ежа я в футбол обращу. Поглядишь.

Степаша угрюмо посмотрел на него.

— Мы не в футбол играть приехали, а учиться и работать. Мы тоже на войну мобилизованные.

Парень хихикнул и толкнул его в бок.

— Ну, и вози его на своей шее. А я непрочь поездить на таких, как ты, трудовиках.

— На мне не поездишь. А на лодырях у нас навоз везят.

«Жулик», — решил Степаша и вспомнил слова отца при прощаньи:

— От жуликов — подальше, а спуску им не давай: жулик линяет заразой...

С этого дня Степаша стоял утренние часы у верстака. Мастерская была похожа на ремонтную мастерскую в колхозе. Те же тиски, те же молотки и зубила, те же винто-резь, ключи и напильники. Все казалось простым, понятным, доступным. Но с первых же дней он увидел, что владеть инструментами не так просто. Казалось бы, взял в руки молоток и — бей по зубилу. Нет, нужна сноровка, особые приемы. Дело не в том, чтобы ударить молотком, а в том, чтоб бить им верно, метко, в точку, с неодинаковой силой: рука должна действовать по правилам, и эти правила должны превратиться в навык, чтобы удары намечались и ладились сами собою. Шашкин показывал ему, как надо работать: он легко и ловко играл молотком, а рука его двигалась по невидимой, очень правильной линии, красиво и гибко. Степаша быстро усвоил эти приемы и все-таки несколько раз до крови расшибал себе пальцы. Шашкин не глазами, а черной полосой бровей смотрел на него угрожающе и молча. Потсм так же молча брал у него молоток и вскидывал его над плечом. Рука его застывала на мгновение, и молоток тихонько, толчками, опускался на зубило, а Шашкин проверял Степашу взглядом — следит ли он за его рукой.

— Делай!

И Степаша покорно и молча повторял работу Шашкина. Сначала было трудно — трудно потому, что рассчитывал каждое движение своей руки и вверх и вниз и очень боялся, как бы не ударить по пальцам. Потом увлекся, забыл о Шашкине, с удовольствием отдался работе, и ему стало свободно и хорошо. Молоток как будто сам собою стал летать в его руке, и Степаша почувствовал, что зубило само ловит молоток, а молоток — зубило. Звонкий ритм как будто опьянил его, и ему чудилось, что он с такой же радостью подплясывает под этот звон молотка,

как когда-то в деревне вечером под говорящий лад гармошки.

В душном подвальном помещении, с пыльными стенами и мутными окнами у потолка, загроможденном верстаками, инструментами и железом, звенели молотки, визжали напильники, звякал металл.

Огузков стоял у верстака, неподалеку от Степаши. Шашкин с первого же дня враждебно обходил его, точно опасался, как бы этот дылда не вызвал его на скандал. Степаша видел, что этот парень не работает, хотя и возится в куче железа, завинчивает тиски и играет молотком. Когда проходил мимо него Шашкин, он глупо ухмылялся и прекращал свою возню. Но однажды Шашкин не выдержал:

— Ты почему не работаешь, Огузков?

Парень с дурашливой вкрадчивостью ответил:

— А у меня ничего не вытанцовывается, товарищ мастер. Возьму молоток — рука отнимается, хочу железку в тиски закрепить — палец попадает. Вот ухо молотком обрвал...

И он, оттопырив мочку уха, наклонился к Шашкину.

— Дурак! Железка!

— Это верно, товарищ мастер. Дураку закон не писан.

— Ну, ты простачка не изображай. Жестоко обломаю.

И Шашкин отошел от него прочь. Огузков победоносно подмигнул Степаше и захихикал.

— Видал, как у него козырек замахал? Я еще не таких дрессировщиков с ума сводил.

И, прислонившись задом к верстаку, он мечтательно закурил папиросу.

«Жулик», — окончательно решил Степаша, и ему захотелось подойти к этому бездельнику и дать ему хорошую оплеуху.

— Гляжу я на тебя, Огузков, и не пойму: куда ты стреляешь?..

— Меня, брат, не опутаешь, — не отвечая на вопрос Степаши, рассуждал Огузков, наслаждаясь папиросой. — Я сам любого опутаю. Ты говоришь: мобилизация. Я — птица другого полета. Я не желаю греметь каким-то паршивым железом. У меня — своя цель: я — вольный стрелок прерий.

Степаша ничего не понял из его болтовни, точно Огузков говорил с ним на чужом языке.

Степаша работал с радостью. Завинчивая тиски, он ощущал бодрость в сердце: вот он сейчас — мастер, который может сделать все, что ему закажут. И ему казалось, что в его руках и инструменты радовались, блистали смехом и разговаривали с ним на своем звонком языке. И, когда Шашкин осматривал и измерял сделанную им вещь, черная линия его бровей поднималась и опускалась со сдержанной усмешкой удовольствия. У Степаша билось сердце от волнения.

— Дело! — решительно заключал Шашкин. — Получишь новое задание.

В беседе с ребятами он назвал его фамилию и даже указал на него пальцем.

— Вот это — парень! Хорош! С него надо брать пример. И держит себя чистосердечно... ответственно держится... Скоро на завод отправим...

Некоторые ребята стали смотреть на него с одобрительной завистью, а некоторые — враждебно. Около Огузкова вне мастерской толкались самые озорные мальчишки: они шумели, матершинничали и старались побольнее уязвить Степашу, если он попадался им на глаза.

— Эй, ты... баран чистосердечный!..

И Степаша думал с тоскою: почему это ребята обычно льнет к таким, как Огузков? Почему мальчишки как будто чумеют и становятся другими? Смотришь: паренек стесняется, оглядывается, краснеет и вдруг прилипает к негоднику — начинает подражать ему в грубости, в развязности, в притворстве и вызывающей дерзости. Почему особенно смелы и нахальны те, кто не хочет работать, а хорошие ребята чувствуют себя робко, боязливо? И, когда Шашкин или директор внушают, что надо стараться работать отлично, быть дисциплинированными, потому что они готовятся стать к станкам, что сейчас — война и они должны заменить своих отцов, многие выслушивали эти речи с тупой скукой, как глухие. Впрочем, и сам Степаша был холоден к словам начальства: тот же директор говорил неинтересно, с натугой, мямлил, кричал, точно ему досмерти не хотелось говорить. Да и говорил-то он одно и то же, как граммофон. Он был толстенький, с ленивенькими жемами, ворчливый. Френч на животе всегда был засален, в поперечных складках.

Новичкам выдали черные костюмы, шинели, картузы. Разъяснили, как держать одежду в чистоте, как хранить

се и следить за собою. К каждому отделению поставили старшину из старых ремесленников или из молодых мастеров, которые оставались после окончания училища в общезжитии. Степаша обрадовался, когда увидел, что командиром его отделения будет Дорошенко. И у него даже забилось сердце от удовольствия, когда Дорошенко весело и заливисто крикнул, стоя перед фронтом:

— Смирно-о! Равняйся!

И, сдвинув в сторону рот от улыбки, показал белые зубы. И тут же строго, по-свойски сказал:

— А теперь вот что, ребята: начнем с вами проходить строй, а потом — ружейные приемы и штыковой бой. Не забывайте, что вы — солдаты. А солдаты должны быть дружные ребята. Шаг — в строчку, удар — в точку. Пошли по городу — чтоб все граждане любовались вами, как картиной.

В тот же день у него произошло столкновение с Огузковым. Огузков был на правом фланге, и, должно быть, нарочно путал шаг и не желал выполнять команды. Дорошенко несколько раз останавливал колонну, потом вызвал к себе Огузкова и, вытаращив глаза, рявкнул:

— Смир-рна!

Огузков испуганно вытянулся и по-дурацки ухмыльнулся.

— Не выходит у меня... Я к этому неспособный...

Дорошенко нахмурился.

— Давай, брат, объяснимся с тобой начистоту. Со мной тебе притворяться не нужно: я сам, мой друг, когда-то валял дурака, как ты же. Вот, мол, разыграю сукина сына, и вытурят меня в шею. Не выйдет у тебя со мной, дружок. Предупреждаю заранее: шутки со мной плохи...

И он опять грозно скомандовал:

— Смирно! Кру-угом!..

Огузков послушно повернулся.

— Шаго-ом...

Так Дорошенко промучил его минут пять. Огузков обливался потом. Лицо его стало грустно-сконфуженным. Он уже знал, что Дорошенко видит его насквозь и не даст ему спуска. Степаша улыбался во весь рот: ему было приятно унижение Огузкова, и он одобрительно покрякивал.

— Ну, а теперь, товарищ Огузков, становись на свое место. Шагать ты можешь отменно, даже с талантом. Ты и штыком будешь орудовать на страх врагам.

По команде Дорошенко, под хохот ребят, Огузков четким шагом прошел на свой правый фланг.

Уже в конце занятий Дорошенко опять вызвал Огузкова и приказал ему командовать фронтом — повторить те упражнения, которые проделал сам Дорошенко. Огузков краснел и бледнел, но точно провел задание. Степаша ликовал.

IV

На другой день Огузков стоял перед своим верстаком и, молчаливый, с злым лицом, старательно взмахивал молотком и ожесточенно орудовал тисками. Он ни на кого не обращал внимания, не задирали ни Шашкина, ни Степашу, а когда приходили к нему с лукавыми лицами мальчишки, отшивал их одним взглядом. Степаша с удивлением посматривал на него и ухмылялся: здорово прогрел его вчера Дорошенко, если и сегодня он не может еще очухаться! Но Степаша никак не мог понять, почему Огузков так рьяно принялся за работу. Откуда у него взялся такой пыл? Не хочет ли он сорвать свою злость на Шашкине — испортить поделки и довести мастера до бешенства? Но Огузков работал хорошо: молоток бил по зубилу правильно, а напильник ходил ловко в его руках, словно он упражнялся владеть инструментами с таким же упорством, как и Степаша. Перед обеденным перерывом Огузков вдруг бросил работу и стал перебирать сделанные им вещи. Он осматривал каждую из них со всех сторон, взвешивал на руке, подносил близко к глазам, откладывал в сторону и опять брал. После перерыва Огузков с прежним ожесточением работал молотком и тисками и опять бросил инструменты, с задумчивым удивлением рассматривая свои изделия. К нему подходил Шашкин и, двигая сплошной линией бровей, оглядывал его настороженно и подозрительно. Один раз он взял из кучки сделанных Огузковым вещей сначала одну, потом — две, потом — опять одну и, строго проверив их и глазами и пальцами, сказал:

— Добро. Молодцом. Ведь вот, Огузков... умеешь же работать на «отлично». Я тебе могу даже дать сложную поделку. Возьмешь?

Огузков лениво пробурчал:

— А мне все равно... Давайте, если нужно...

Этот ответ не удивил Шашкина. Дал он ему ту самую деталь, которую дня два назад делал Степаша, и стал объяснять, как надо ее обрабатывать. Но Огузков огрызнулся:

— Знаю.

Шашкин отошел от него и, наблюдая за ним исподтишка, остановился около Степаши. Он не стал проверять изделия Степаши, а только положил руку на его плечо, как бы выражая этим свое расположение к парню.

Степаша несколько раз пытался попросить Шашкина перевести его на токарный станок: очень уж ему нравилась эта чистая работа у механизма. Она казалась ему какой-то музыкальной и радостной. Но, как только подходил к нему Шашкин с насупленными бровями, у Степаши не хватало духу обратиться к нему с этой просьбой. И вот сейчас, когда Шашкин настроен был благодушно, считая, вероятно, что Огузков остепенился под его влиянием, Степаша смело взглянул ему в глаза. Шашкин подмигнул ему и кивнул головою на Огузкова.

— Товарищ Шашкин, — с почтительной вкрадчивостью сказал Степаша, — мне досмерти хочется на токарный... Пожалуйста, переведите меня на станок... Я очень вас прошу...

— А чем здесь плохо? — строго спросил Шашкин, опять опуская брови. — Надо пройти хорошо и эту квалификацию.

— Я не говорю, что здесь плохо... Только я сплю и вижу этот токарный станок...

Шашкин не сказал ему ни слова и больше в этот день к нему не подходил. Степаша даже испугался: не рассердился ли на него мастер?

Но он скоро успокоился и забыл о Шашкине. С каждой минутой все больше и больше удивлял его Огузков. Он работал с непонятным увлечением и злым упрямством. Степаша заметил, что он неправильно начал пилить деталь. Невольно он подошел к нему и схватил за руку.

— Как же ты делаешь?.. Труда не оберешься, и брак будет... Надо вот так...

Огузков быстро обернулся к нему и оттолкнул его локтем. С презрительной ухмылкой он промычал:

— Пош-шел ты... Видали таких учителей...

— Да ведь портишь же... Я же знаю, как ее обрабатывать...

Огузков злыми глазами уставился на Степашу и с напильником в руках угрожающе шагнул к нему. Степаша отвернулся и с обидой пошел на свое место. К Огузкову с любопытством подбежали трое чумазных подростков и, озорно поглядывая на Степашу, начали что-то живо и напористо говорить ему. Но Огузков вдруг рассвирепел и рявкнул на них:

— Вон отсюда!.. Только посмейте у меня — я первый дам вам выволочку. Марш по местам!..

Мальчишки, трусливо оглядываясь, отбежали назад. Огузков повозился немного со своей поделкой, взял прежние детали и опять начал задумчиво осматривать их. Вдруг он шагнул в сторону Степаша и насмешливо крикнул:

— Ну-ка, ты... инструктор! Иди-ка сюда!

Степаша сделал вид, что не слышал его голоса: в сердце ныла обида на Огузкова, и он был ненавистен ему.

Огузков подошел сам и с усмешкой в голосе спросил:

— Ну, так чего это я неправильно делал? Рассказывай!

Не оборачиваясь к нему, Степаша хмуро ответил:

— Чего ради я буду рассказывать тебе, ежели ты сам — мастак? Ученого учить — только портить.

— Ну, нечего, брат... а то я подумаю еще, что ты нос задираешь.

— Я — не хвальбишка и не жулик, чтобы нос задирать, — озлился Степаша. От оскорбления у него даже подбородок побледнел. — А ежели взялся работать, так работай хорошо... без промаха...

— Ух, ты... агитатор какой явился! Прямо под баян руды разводишь... Ты все-таки скажи мне, в чем моя правильность.

— А вот в чем...

И Степаша взял из руки Огузкова металлический обрубок и, показывая пальцем, стал объяснять, с чего начинать работу, как руководствоваться разметкой, как зажимать поделку, чтобы облегчить себе работу. Незаметно для себя он увлекся: вынул из тисков свою деталь, вложил и зажал деталь Огузкова, взял напильник, уверенно приложил его к едва уловимой линии разметки. Но Огузков схватил его за руку и скомандовал:

— Стоп. Задний ход.

И сам ослабил тиски и вынул обрубок.

— Это про тебя сказано: охота пуще неволи. Ты мне нравишься.

Степаша опять нахмурился, с опаской отшагнул от Огузкова и подумал: «Да ты-то мне не нравишься...»

Огузков засмеялся и съехидничал:

— Интересно только: почему наша мальчишня не к тебе, а ко мне тянется?

— Тебе лучше знать... Должно быть, ты умеешь им сказки рассказывать... Только один, кажется, Дорошенко тебя наизнанку вывернет...

— Ну, брат, я без драки не сдаюсь. Это ты ему пятки лижешь, а я — человек с характером. Меня не скоро охомутаешь.

И он отошел от Степаша с ухмылкой упрямого озорника.

Степаша забылся в работе и совсем перестал замечать Огузкова. И только к концу дня он нечаянно взглянул в его сторону и опешил: он не узнал Огузкова. Огузков стоял спиной к верстаку, опираясь на него и как будто отдыхая. Он с пристальным любопытством смотрел на сверкающую деталь, как на игрушку, и вертел ее в пальцах ласково, как будто вслушивался, что она шепчет ему.

Такого серьезного, сосредоточенного лица еще ни разу не видел у него Степаша. Казалось, что Огузков увидел в своих изделиях что-то новое и это поразило его. Он осторожно откладывал сверкающую вещьцу в кучку других серебристых поделок и провожал ее с сожалением. Потом брал ту, которую он обработал утром, и еще одну из новых и сравнивал их между собою. Он улыбался про себя, и в глазах его вспыхивала радость удовлетворения.

К нему опять подошли те чумазные мальчишки, которых он прогнал недавно. Они обступили его и тоже стали рассматривать те поделки, которые он держал в руках. Один из них протянул руку к кучке изготовленных деталей, но Огузков прикрикнул на него:

— А ну, осадь назад!

Ребята загалдели и засмеялись. Они озорно играли белками и скалили зубы. А тот, которого Огузков отогнал от верстака, мордатенький, с широко расставленными глазами, басом спросил его насмешливо:

— Что это ты разохотился ударничать? Шашкин, что ли, тебя взнуздаль?

Ребята опять захохотали. А Огузков прищурился на мордатого и с презрением осадил его:

— Дурак.

И сунул ему в нос обе детали.

— Это что? Болванки или вещи? Кто их сделал? Я. Видишь, какая красота? Я играю на баяне, а ты не держал его в руках. Что ты понимаешь своей дурьей башкой? Я себя в них чувствую...

— А ну, дай поглядеть, Огузков...

— То-то... Попробуйте-ка сами так сделать... Ни черта не сможете... Это надо делать с удовольствием... Вы еще сопляки...

Мальчишки обиделись.

— Подумаешь... Еще как сделаем. Давай поспорим. Мы на гранатах будем скоро работать... Шашкин сказал. Это, брат, похлеще...

— Ну, и точка. Можете уходить по своим местам...

Он подошел к Степаше и с неожиданным волнением протянул свое изделие.

— Ну, как находишь, колхозник?

Степаша внимательно и деловито осмотрел деталь.

— Важно. Только еще бы надо протереть мелким наждачком.

Огузков засмеялся.

— Видал, как эту шпанку за живое задело?

Степаша дружелюбно улыбнулся ему.

Дня через два Степашу перевели на токарный станок, и он надолго потерял из виду Огузкова.

V

Вечером Дорошенко должен был уйти на ночную смену. После ужина он лег на свою койку, чтобы соснуть немного. Степаша сидел за столом и читал повесть Горького «Трое». Лампочка над столом горела тускло и скучно, сонно позванивали мухи, посапывал Дорошенко на кровати и что-то невнятно бормотал сквозь сон. В коридоре смеялись и гомонили ребята. Но всюду комнаты были пустые: некоторые из ребят ушли в кино, другие в красном уголке играли в шашки, в домино, а остальные — на производстве. И Степаше было приятно и грустно одному: думалось о деревне, о матери, о братишке с сестренкой, об отце. Может быть, и он думает сейчас о Степаше. Как, должно быть, ему страшно сейчас. Это — страшнее грозы, грома и ливня, которые Степаша не раз переживал в поле еще мальчиком. Тогда они вместе с отцом отсиживались под телегой.

Дорошенко сел, спустил ноги с кровати: он как будто тосковал.

— Не спится... Какая-то суматоха в башке... А ты читаешь?.. Читай, брат, обязательно... Знаешь, как Борис у Пушкина: «Учись, мой сын: науки сокращают нам опыты быстротекущей жизни...» Разденусь. Душно в монатках. — И почему-то засмеялся смущенно. — Верно, почему я напяливаю на себя все это барахло? Не знаю. Я ведь, Степан, был долгое время бродяжкой. Всё мое — со мною... Я могу спать где угодно... могу и не спать.

И он сердито и странно торопливо начал сбрасывать с себя и пиджак, и рубахи, и штаны.

— Отец у меня на Магнитке погиб... во время взрыва... А мать умерла от воспаления легких... там же... С тех пор я пошел самостоятельно драться за свою жизнь. И не каюсь: закалил характер, узнал всяких людей. Потом научился находить в себе и ум, и силу. Узнал на собственном опыте, как ходить по всяким путям и перепахутьям...

Я знаю дикий мрак ночей,
Жестокий, как сердца людей,
В тепле навозного гнилья,
В задворках барского жилья.
Я там и плакал, и мечтал,
И злобной мезью душу рвал,
И там же ласковых собак,
Таких же брошенных сердяг,
Я обнимал, как нежный друг, —
Моих единственных подруг.
И только в этот синий миг
Я сердцем радостно постиг,
Что жизнь человечья хороша,
Когда растрогана душа...

Ну, и так далее... Это — мои стихи, которые я спел недавно по дороге с завода. Шел я один ночью и вспоминал прошлое. Так вот, дорогой Степан, когда ты почувствуешь, что ты — сила, всего можешь добиться.

Дорошенко снял и нижнюю рубаху, мокрую от пота, и помахал руками. Хотя он казался поджарым, Стапаша чувствовал, что сила у Дорошенко бушует в каждом его движении: так и кажется, что ему нужно что-то ворочать, поднимать тяжести, хлопотать, напрягаться. Вот и в эту минуту он не утерпел: прицепился к стулу, схватил его за конец ножки и быстро поднял выше головы. Улыбаясь, он медленно опустил его на пол и поставил на прежнее место.

Только после этого подошел к Степаше и пристально изучил его взглядом.

Он прошелся по комнате, раза два шлепнул себя по груди и плечам, сгоняя мух, которые жадно прилипали к его потному телу.

— Мало ты еще знаешь, Степан. Ни черта ты не испытал. В колхозе у вас все-таки спокойно. А вот здесь азбука жизни потруднее... Я, брат, уже в четырнадцать лет старше тебя был годиков на двадцать. Уж о многом рассуждал. Книжки тоже здорово помогали...

Дорошенко казался Степаше необыкновенным человеком. Такого парня он еще никогда не встречал. Он подавлял его своей мудростью.

VI

Первый месяц был трудный для Степашки: никак не мог привыкнуть к общежитию и ни с кем из ребят не мог сойтись. Кроме Дорошенко, ни с кем не мог поделиться своими мыслями. Мучила тоска по своей деревне, по своей семье. Родное село на берегу озера, золотые и зеленые поля на взгорьях с бегущими тенями облаков, сосновый бор, темный и дремучий, жаворонки в небесной синеве, вечерние зори и знойная пыль на улице, пахнувшая стадом, влажная прохлада прибрежной травы и тины, — все это мерещилось Степаше и во сне и наяву. В свободные часы он выходил из общежития, бродил в лесу, и ему было грустно до слез: эти восковые сосны и щетинистые кудри хвои казались ему тоже грустными и задумчивыми. Он поднимал шишки с земли, мял их, и они упруго хрустели в его пальцах. Свежие шишки он приносил в свою комнату, высыпал их на стол, и воздух наполнялся сосновым ароматом. И от этого дышалось легче, и сердце как будто болело не так мучительно. Из окна было видно, как эти сосновые заросли покачивались на ветру и взмахивали своими длинными ветвями с густыми охапками лучистых хвой, и Степаше казалось, что они приветственно улыбаются ему и шептали о чем-то милом, как воспомина-ние.

Ребятишки, его сожители по комнате, приходили только на ночлег: они избегали Степашу и явно опасались Дорошенко. Им было скучно с ними, и они удирали к однолеткам. Потом их перевели в другое общежитие.

Степаша замечал, что ребята собирались на улице в артельки, играли в орлянку, в картишки, ссорились, дрались или гурьбой уходили к трамвайной остановке и уезжали в город. Степашу больше всего возмущала их ругань: она, как присловье, уснащала их язык, заражала каждого, и парнишки форсили друг перед другом этим обилием пакостных слов. Потом он заметил, что новички заразились куреньем. Они дымили все сразу, одурело любовались своими цыгарками и, подражая взрослым, небрежно переругивались и плевали через зубы. Правда, и в деревне были озорники и ругатели, но там считали их негодниками, безотцовщиной.

Отец Степаша был членом правления колхоза и не раз вызывал родителей и самих парней и совестил их. Он называл озорников на работы и строго следил за ними. Сам Степаша никогда не ругался и не курил: он очень боялся отца, да и сами отчаянные парнишки были противны ему. Ему было приятнее возиться по двору или строить вертушки и мельницы, или помогать в ремонтной мастерской кузнецу — раздуть мехи и орудовать мотором, а во время сенокоса сидеть на седле косилки и править лошадьми. И, когда его хвалили за ловкость, ему было радостно и хотелось отличиться еще больше. Он гордился, что отец его был активистом, что его уважали колхозники, и был счастлив, когда видел, что отец доволен им и любит его. И последние его слова при прощаньи и дрогнувший голос звучали в душе постоянно:

— Когда вернусь, Степашка, с войны, чтоб мне стыдно за тебя не было...

Однажды Степаша не выдержал, подошел к шайке курильщиков и ругателей и сердито прикрикнул на них:

— Бросьте похабничать, эй вы, мозгляки! На людях, при народе... стыда нет...

Один из них, курносый, лупоглазый, дерзко выступил вперед и, задирая голову, зарычал на него:

— А что? Ну? Не суйся, пока зеркало не разбили...

Степаша сказал об этом в мастерской Шашкину. Но тот с удивлением взглянул на него:

— А я-то что сделаю? У каждого есть свои обязанности. Надо с директором говорить, с учебной частью, старшин подтянуть, культчасть поднять...

Но на другой день все-таки сердито стал оглядывать учеников, а на нерях покрикивать:

— Почему нет пуговицы? Чего ломаешься? К порядку надо приучаться... уважение соблюдать... А за сквернословье буду жестоко взыскивать... Честь позорите. Вы — ремесленники, а не хулиганы с улицы...

И Степаша видел, что Шашкин не знает, как взять в руки ребят, что он, может быть, и хороший мастер, а души их не чует. Да и сам он, Степаша, чувствовал, что Шашкин такой же для него чужой человек, как и в первый день.

В тот же вечер он пожаловался Дорошенко:

— Разве это хорошо? Похабничают, собираются шайками, озорничают. Что это, Костя? Я на завод хочу. А то пускай опять меня в колхоз отпускают...

Говорил он хмуро, надув губы, и сердито стучал карандашом по столу.

Дорошенко только что пришел со смены. Он ничего не ответил Степаше. И тяжелым шагом вышел из комнаты. Степаше показалось, что он чем-то обидел Дорошенко. Он боялся, как бы этот хороший парень не отвернулся от него и не оборвал его презрительно:

— Ну, чего ты канючишь? Кто ты такой?

Но минут через десять Дорошенко бодро ворвался в комнату — веселый и свежий. Он был голый до брюк, и издали чувствовалось, что тело его — сырое и прохладное.

— Вот здорово! Под душем был. Вся дурь с себя смыл... Самое милое и целебное дело — это вода.

Студеный родничок играет под ольхой,
Дрожит и вихрится метелью.
В прозрачной глубине кипит песчинок рой
И искрится жемчужной пылью.
Как радостно склониться в летний зной
К живой воде — такой желанной!
И пить с водою лучик золотой,
Как проблеск радости неожиданой...

Вот тебе поэзия насчет воды. Поэтом быть труднее, чем работать прокатчиком. Стихи эти сложились у меня как раз в жару прокатки. Жажда мучила. А пропел их, когда шел домой.

И Дорошенко, не обращая внимания на Степашу, стал делать гимнастику. И только потом, когда закончил последний прием, улыбнулся, сдвинув добродушно рот в сторону.

— Да, так ты, значит, о культурной жизни мечтаешь... о светлом и радостном быте, как говорится...

Он не закончил своей мысли и засмеялся.

— Вон, гляди... — Он указал на ворох своей одежды. — Решил: к чорту все это тряпье. От него я больше страдаю, чем от огня в прокатке, а вот никак до сих пор не отрешусь от этой идиотской привычки. Даю тебе слово, с этого часа перерождаюсь. Самая дурная и прилипчивая болезнь — это привычка. Вот и ребята... Ты ругаешь их, не по душе тебе, как они ведут себя... У них тоже эта прилипчивая болезнь. Лечить ее надо, конечно. А как? Воспитание высоко поставить. Это, брат, не шутка. Не только надо мастера готовить, а человека делать. Его, человека-то, надо уметь чувствовать.

Он замолчал и заходил по комнате, пошлепывая ладонями по голым плечам. Потом опять заговорил, раздумчиво подбирая слова:

— Конечно, ты правильно возмущаешься. У нас до войны дело шло лучше. Может быть, потому, что внове все было... горели одушевлением... да и работников знающих было больше... Война многое нарушила. А потом новый народ пришел — и ребята, и руководители. Ведь как-никак, а вашего брата — восемьсот душ. Ну-ка, обломай-ка их! И время, и уменье нужно. Там, где работники живут школой, где любовью к воспитанию изнывают... не знаю, как это сказать... ну, там и порядок жизни радостней...

Он заворошил волосы и засмеялся.

— Не знаю уж... стыдиться мне от твоей критики или тоже ругаться. Занят я здорово и устаю люто, а то бы взялся... Комсомольцы мы или нет? Кому же заниматься этим, как не нам, старикам?

Он оживился, заводновался и решительно заключил:

— Ничего, начнем порядки наводить... заново все поднимем.

— Эх, ты-ы... — протянул Степажа, не сводя глаз с Дорошенко. — Какой ты-ы... Ну, и голова!..

Дорошенко снял со стены гитару и попробовал струны.

— Да, брат, голова... голова бедовая... Эта голова усвоила одну не плохую мыслишку: минута радости сжигает годы гадости... только золка остается... для памяти. Книги мне здорово помогли. Запоем читал. Вот мне — двадцатый, а повидал да пострадал — старику впору. Одно-

го не нюхал — фронта. Ну, да скоро, может быть, и я пойду под ружье...

Степаша испугался. Он сразу ослабел, и сердце заняло тоской.

— А я-то как же? — растерянно пролепетал он, но Дорошенко не видел его лица: он настраивал гитару и подпевал каждой струне.

— Что значит «как я-то?» — сердито сказал он и положил гитару на стол. — Ты должен учиться и работать. Своим горбом завоевывать свое место. Драться надо... А то — в деревню! Нет, брат. Только тот победитель и герой, кто бьется за свою судьбу. Уж одно важно, что ты видишь, где — худо, где — хорошо. А ежели видишь, значит, все будет в порядке. Плохое, друг, само дается, а хорошее — с бою берется. Из опыта своего говорю.

— Это я тоже знаю, — с убеждением сказал Степаша. — О чем же я толкую-то! Дерьмо-то везде валяется, а золото добывать надо...

— Вот то-то... потешили Федота... — шутливо заключил Дорошенко и, взяв гитару, занграл что-то красивое и широкое.

VII

В цех Степаша попал уже осенью. Завод находился в другой части города, в пяти километрах от общежития. Это тоже был целый город на берегу большого озера. Чтобы добраться до него, нужно было пересечь весь старый город, а потом итти околицей — среди пустырей и оврагов — по шоссе. Утром можно было туда проехать на трамвае, а ночью всегда приходилось возвращаться пешком. И, когда Степаша шел во тьме по грязному шоссе, ему казалось, что он бредет по деревенским полям; здесь все было так же пустынно и необъятно, так же пахло осенними травами и мокрой землей. Думалось о молчаливых полях со свежей зеленью озимей и черным бархатом недавней вспашки, об угрюмых лесах на увалах, о матери, об отце... Братишка написал ему своим школьным почерком одно письмо (поклоны, все живы-здоровы, от папаша писем нет, в правлении колхоза — одни бабы), и это письмо пахло родным запахом избы и смотрело на него печальными глазами матери.

Степаша шлепал сапогами по жидкой грязи и видел

перед собою черные тени ребят, которые возвращались с работы. Навстречу ослепительно сверкали фары грузовиков, и силуэты ребяташек вырезались четко в туманном сиянии огней. Далеко над городом стояло мутное зарево и вспыхивали зеленые молнии. Такие же зарева мерцали и за пустырями, над другими далекими заводами. Где-то на железнодорожных путях заботливо покрикивали паровозы. Эти ночные прогулки от завода до общежития были приятны Степаше: влажный, холодный ветер как будто сдувал заводской угар. И милая печаль воспоминаний согривала душу. Небо часто бывало тяжелое и низкое, клочья облаков дрожали в отблесках зарева, и видно было, как они клубились и неслись над городом. Шли дожди, упорные, затяжные. Они пробивали шинель и холодными струйками текли по спине. Ребята переключались впереди и сзади, беззаботно хохотали и переругивались.

В мастерской его перевели на токарный станок, и он скоро стал лучшим учеником по токарному делу. Научился он и шлифовать.

В цехе старый мастер, сутулый, седоусый, с синим лицом в дряблых складках, с серыми прозрачными глазами, Савелий Игнатьевич Удников, встретил Степашу как-то странно не подошел к нему, а стал поодаль, заложив руки за спину, и угрожающе прощупал его острым взглядом.

— Из деревни? — спросил он глуховатым басом с хрипотцой. — Отец — на войне? Хорошо. Говори прямо: душа лежит к ремеслу? Вижу, не врешь. Отзывы из школы хорошие.

И только после этого приблизился к нему, снял с него картуз и опять проверил взглядом его лицо. Картуз он сунул ему в руки и удовлетворенно заключил:

— Голова — честная. Не лопухий. Расскажи мне, как ты станок знаешь, что на нем изготавливал...

Степаша с живой охотой стал называть части станка, ласково поглаживая их, показывал, какую роль они выполняют. Савелий Игнатьевич усмехнулся и разгладил усы.

— Живет! Охотка — успех делу. Степаном зовут? Ежели ты — Степан, будь, значит, степенный. Работай! Вот тебе задание.

И он подал ему образец детали, рассказал, как надо ее обтачивать.

— Понял?

— А я и потруднее могу, Савелий Игнатьич.

— Ну-ну, не хвались перед делом, похвастайся своей работой. Это, брат, не школьная игрушка, а ответственный оборонный заказ.

И мастер сердито пошел к другим станкам. Но через несколько шагов остановился, прислушался и медленно возвратился к Степаше.

— Мать-то одна осталась?

— С братишкой и сестренкой, Савелий Игнатьич.

Старик помолчал и поглядел мимо Степаша с рассеянной задумчивостью и предостерегающе поднял ко лбу свой палец.

— Вникни! Теперь не токмо жизнь народа, а судьба каждого человека — тебя, меня и даже младенца — ставится на испытание. Сейчас и дети седеют. В госпитале есть парнишка... Две девчушки тоже... Видел и ужаснулся: искалеченные, кости измяты... Понимаешь ты, курносый? Ведь эти коротышки, детеныши, выдержали испытание верности. За огонь идеи шли на смерть. Я, старый хрыч, перед ними трепетал. Вот и поразмысли, кто ты есть в эти ужасные дни...

И он быстро зашагал по проходу, растопырив руки, сжимая и разжимая кулаки. Степаша смотрел в суровую его спину и чувствовал, как сердце его наполнялось тревожным беспокойством. Старик и понравился и испугал его.

Необъятный цех, сумеречный, весь загроможденный станками и какими-то высокими, как дома, очень мудренными машинами, озаряемый ослепительными вспышками и взрывами сияющего дыма, с плывущей в вышине кабиной крана, несущего глыбы металла, подавлял Степашу. Судорожно дрожал пол под ногами, и воздух пронзительно звенел и визжал до щекотки в ушах, точно повсюду оттачивали на камнях множество топоров и кос. Торопливо и озабоченно проходили мимо рабочие в синих холщевых блузах, молодые и пожилые, невнятно перекликались и махали руками, проезжали, громяхая, вагонетки с железными частями. Степенно и строго шли, мирно беседуя и часто останавливаясь, какие-то начальники. К ним подбегали молодые люди, что-то горячо доказывали или уводили их в дощатую конторку, ярко освещенную внутри ослепительной лампой.

По обе стороны от Степаши работали у станков парни в серых халатах, но, занятые своим делом, они даже не покосились на него. Только однажды подошел к нему юноша с узенькими щелочками вместо глаз, поглядел на его работу и осторожно положил ладонь на его плечо.

— Ничего, ничего! Лупи смелее! В лесу тоже бывает непривычно. Здесь одно надо знать — свое рабочее место... чтоб все было под рукой. День-два, и ты будешь, как дома. Имей в виду, ты участвуешь в соревновании. Тут, милачок, по три, по пяти норм люди вырабатывают. Сменщик у тебя — тоже из новичков. Если что нужно будет, подойди... Вот тут — через два станка. Моя фамилия — Борзых. Бригадир. Член цехбюро комсомола. А ты — комсомолец?

— Нет еще... Я — из колхоза.

— Значит, плохой колхоз.

— Нет, колхоз хороший.

— Какой же это колхоз, если нет комсомола?

— Ну, а тут лучше? Погляди, как у нас в общежитии мальчишня ведет себя: похабничает, болтается...

— Это хорошо, что ты критически подходишь... Только не зарывайся. Работать надо над народом. Вот ты замечаешь, а почему не борешься?

И он исчез за соседним станком.

Степаша так увлекся своей работой, что не заметил, как около него очутился старик. Савелий Игнатьевич не мешал ему, а последил за его руками искоса. Потом взял сделанную деталь, повертел в руках, бережно положил на стол и взял другую. Но и после этого ничего не сказал, а пытливо оглядел Степашу с головы до ног и опять ушел куда-то в глубь цеха. Степаша понял, что старику придаться не к чему, что он опять придет проверить его и поищет повод, чтобы поворчать. Так обычно делают все старики. Одно только было странно: почему он казался недовольным и хмурым?

Только к концу смены старик нашел случай пожурить его:

— За одно тебя, сынок, хвалю — за заботливость. Это — часть дела. Сделал хорошо, да мало. Одна кропотливость в нашем рекордном производстве не решает дела. Надо поскорей набить руку. И этого мало: надо драться за первое место. Башку вперед высовывай! Любопытствуй. догадывайся!.. Вот у тебя нет под рукой порядочка: все

разбросано и место не чисто — сор, грязца. Да, не оправдывайся, — курник! Твой сменщик болван, да ты не будь болваном. Думал, догадаешься — почистишь, станок протрешь, инструменты уложишь... Не догадался... Ну, и промазал...

И Савелий лукаво поглядел на него из-под бровей.

Так Степаша стал входить в работу цеха. Несколько дней он чувствовал себя затерянным, крохотным в этом грохочущем огромном и многолюдном цехе, и сердце у него ныло от какого-то смутного беспокойства. Минутами ему было страшно: что может он, такой маленький и ничтожный, сделать здесь, среди этих машин и людей, выполняющих этакую махину труда? А каждый день наплывали на него новые волны и бросали его, как щепку. Он видел у станков надписи на досках и на листах бумаги, и эти надписи были страшнее всего. Аншлаги кричали оглушительно: «Иванов перевыполнил задание в три раза...», «Баранов выполнил обязательство на 400 процентов». А однажды увидел толпу парней, которые радостно кричали и хлопали в ладоши. Красный и потный парень стоял около доски, на которой было написано: «Десять норм отличного качества... рационализировал технологию...»

В цехе много было подростков. Все они были из ремесленных училищ и из фезео. Много было и девчат.

VIII

День ото дня Степаша привыкал к цеху и к своему месту. Он уже перестал замечать тех, кто работал около него, и ничем не интересовался, кроме своего станка. В конце смены он, не прекращая своей работы, чистил свою машину, прибирал сор, подметал пол на своем месте. Его сменщик, тщедушный паренек, с большими страдальческими глазами, бледный, длиннолицый, со странной фамилией — Тихолаз, не говорил с ним ни слова, точно был немой. Он всегда оставлял после себя и место и станок грязными и незаметно исчезал. Это злило Степашу. Как-то он схватил его за рукав и сердито спросил:

— Долго я буду прибирать за тобой? Чучело!

Тихолаз вырвал рукав, и страдальческие глаза его вспыхнули зеленым, светом, как у кошки.

— И не прибирай. Тебя не заставляют.

— А почему я должен передавать тебе все чистенькое?

— И не передавай. Я тебя не прошу...

— Нет, брат, шалишь! Я тебя заставляю.

— Это ты-то заставишь?

И он с неожиданной угрозой напер на него плечом и оскалил мелкие зубы.

— А ну, попробуй, заставь!..

Степаша сжал кулаки и побледнел. Но тут же вспомнил Дорошенко. Костя поступил бы не так: он весело, шутя, оставил бы этого парнишку в дураках. Степаша вздохнул и миролюбиво улыбнулся.

— Слушай-ка, Тихолаз... Ей-богу, давай, по-товарищески. Ведь для себя же... Хорошо так, что ли? Придет Савелий Игнатьич, будет покрикивать... Ну, я мог бы сейчас бригадира Борзых позвать. Неприятности разные будут... Хуже мы всех, что ли? Чудак! озлился вот... на кой чорт?

Тихолаз подумал немного, помолчал, и большие глаза его утонули в слезах. Он отвел лицо в сторону и с судорогой в горле сказал:

— Нехорошо мне... не могу я... с ума схожу... На скрипке учился... пять лет. А у меня сейчас руки... гляди, какие!..

Он вздрагивал, крепко сжимая оскаленные зубешки. Рядом с ним Степаша чувствовал себя таким сильным и большим, что даже засовестился. Но паренек стоял перед ним, должно быть, укрощенный его добродушием, и молча плакал, стыдясь своих слез. Степаша взял его под руку и отвел в уголок.

— Ну, брось!.. Чего там... Играй себе на своей скрипке — и всё. У тебя отец-то где — на войне? Бойцам-то на войне, ты думаешь, лучше, чем нам? Нынче — живой, а завтра, может быть, и нет тебя... Мы ведь не для себя работаем: мы — тоже на войне, тоже фронтовики. Ты — из какого общежития? Ну, и хорошо, тоже из нашего... Я похлопочу, чтоб мы в одной смене были. А потом перетащим тебя в нашу комнату. Хороший у нас парень есть — Дорошенко... Вот голова!..

Тихолаз искоса взглянул на него с улыбкой сквозь слезы, смахнул их и смущенно сказал:

— Ты — очень славный... Я это чувствую... Я на все согласен...

С этого дня Степаша приобрел нового друга.

В перерыве он пошел к Борзых, рассказал ему о Тихолазе и робко спросил его:

— В смену-то мою его нельзя перевести?

— А не все равно, в какой он смене?

— Значит, не все равно. Я не хочу, чтоб мальчишка пропал...

— Ой, как страшно! Ежели он хочет пропасть, так и в твоей смене пропадет.

Степаша осмелел. Трудно было побороть робость, чтобы заговорить с Борзых: немного страшновато было от непривычки. Но как только перешагнул он через этот порог, сразу почувствовал себя уверенным и упрямо решил добиться своего. Он заметил одну слабость у Борзых — любил похвалиться своей работой в комсомоле:

— Без чуткости к ребятам не подойдешь... К каждому надо подходить индивидуально... У нас очень большие успехи по воспитанию... А теперь, в дни войны, — сугубые сложности...

Степаша засопел от злости и с неприязнью поглядел на Борзых. Тот, должно быть, заметил этот взгляд и нахмурился.

— Ну, говори... куда гнешь?..

— На парнишку нельзя плевать. Он мучается... На скрипке играет...

— Ну, и пускай играет. Кто ж ему мешает?

Степаша вздохнул и отвернулся.

— Нечего дуться, — посмеиваясь, наставительно сказал Борзых. — А за то, что ты чуток к товарищу, — хвалю.

Степаша исподлобья посмотрел на лицо и руки Борзых и пошел на свое место. Обида так жгла его сердце, что ему хотелось отплатить Борзых такими словами, чтобы он запомнил их надолго и чтобы ему стыдно было глядеть в глаза Степаше.

В конторке, куда обычно заходил Савелий Игнатьевич, было пусто: все, очевидно, ушли обедать. Столовая находилась тут же, на втором этаже боковой пристройки. Ребята обедали отдельно, рядом со столовой рабочих, Степаша шел по проходам между машинами, черными от промасленной пыли, и чувствовал приятный хруст оранжевых и синих спиральных стружек. Они были такие красивые, что хотелось подбирать их и любоваться их игрой. Всюду на полу навалены были штабелями стволы пушек, тол-

стенные стальные плиты, кучи шершавых болванок, и, когда выходили из-за этих штабелей и плит рабочие, они казались маленькими, как ребяташки. Где-то вдали дребезжали клепальные молотки и вспыхивали зеленые молнии. Эти молнии дрожали внизу, за толпами машин, и дым вверху загорался синим туманом. За длинными столами, уставленными сверкающими цилиндрами, высокими пирамидами отшлифованных деталей и странными, изломанными стержнями, хлопотали вихрастые девчата. Звонил колокол в сумеречной высоте, и там, среди металлических перекрытий, медленно плыла темная кабина в огненных отблесках молний; диск электромагнита на толстой цепи нес целую гирлянду тяжелых стальных глыб. Они прилипали одна к другой, покачивались, и Степаша с оторопью пятился назад. Он уже хорошо знал весь цех и в свободные минуты ходил в разные его концы.

Уже на лестнице чья-то рука схватила его за плечо. Он оглянулся и встретил хитренькую прищурку Борзых.

— Знаешь, браток, ты мне каждый раз все больше нравишься, язви тебя... Здорово ты сейчас штурмовал меня...

Степаша промолчал: он не верил Борзых и не хотел попусту спорить с ним сейчас. У него была одна надежда — на Савелия Игнатьевича. Старик без объяснений и доказательств почувствует его. Но Борзых не отпускал его плеча, точно боялся, как бы Степаша не ускользнул от него. На площадке, перед дверью в столовую, он дружески похлопал его по спине.

— Ну, так когда же — в комсомол?

— Не знаю... — неохотно ответил Степаша.

— Как это — не знаю? Кто же будет знать?

Степаша сердито стряхнул его руку.

— Ух, какой ты злой, мотор моторыч! Чего фырчишь? Не фырчать надо, а думать. Подожди: не я же решаю вопросы...

Но Степаша не хотел ждать. В столовой, полной ребятни, он занял первое освободившееся место, съел лапшу, потом кашу и торопливо спустился опять в цех. В конторке уже сидели какие-то люди за столами и что-то писали на разграфленных листах. Но старика опять тут не было.

Савелий Игнатьевич проходил мимо его станка в то время, когда Степаша уже выточил две детали.

— Савелий Игнатьич!

Старик не обратил внимания на Степашу и прошел мимо с насупленными бровями и надвинутой на лоб кепкой. Степаша хотел выключить мотор и броситься за мастером, но тут же вспомнил, что это не годится: старик рассердится и накричит на него. Он продолжал работать, хотя сердце билось у него от нетерпения. Но Савелий Игнатьевич сам подошел к нему и хмуро, с хрипотцой спросил его:

— Ну? В чем дело?

— Савелий Игнатьич!

— Давно Савелий Игнатьич... изъясняй толком...

— Вы, Савелий Игнатьич, сменщика моего назвали болваном. А он вовсе не болван. Знаете, кто он? Музыкант.

— Музыкант в цеху — как лягушка на столе.

— Я, Савелий Игнатьич, к вам, как к отцу: переведите его, пожалуйста, в мою смену.

Старик строго помолчал.

— Тоскует он, Савелий Игнатьич... А парнишка — что надо... Я ему помогать буду... Он и токарь будет хороший и на скрипке будет играть.

— Гм... тоскует, говоришь?.. Это — серьезное дело. Дураки не тоскуют...

И ушел. Хотя он и ничего не сказал толком, но Степаша по искоркам в его глазах и по суровой усмешке понял, что Савелий Игнатьевич сделает все, что можно.

IX

Случилось так, что Степаша выходил вечером через проходную вместе с Савелием Игнатьевичем. В проходной была толкотня: все нетерпеливо нажимали сзади и от нечего делать приятельски переругивались, перекидывались шуточками и угощали друг друга тумаками. Старик положил руку на картуз Степаша и сердито проворчал:

— Со мной пойдешь... Все равно в общежитии болтаться будешь...

Смеркалось. Небо было чистое, но странно лиловое. Воздух был прозрачный и синий. Высокие многоэтажные дома четко чеканились впереди и казались нарядными и ажурно-легкими. Гудел самолет где-то очень высоко. Степаша и Савелий Игнатьевич поискали его в небе.

— Вот так и мой Всеволод... — Он поднял руку и по-

казал пальцем вверх. — Я всю жизнь ходил по земле... врос в нее... и глядел вниз... А он, Всеволод, сызмала ловил глазами этих птиц... и все рвался в небеса. Летать стал. И характер, и слова, и походка — все изменилось не к моему понятию. Глядишь, слушаешь его — и все мерещится, что он где-то в воображении.

— А где он сейчас — на войне? — почтительно спросил Степаша.

— Теперь все — на войне... все!.. А почему? А потому, что это не просто война, а битва за жизнь. Жить человеку или не жить. Это твой и мой вопрос.

Он вдруг остановился и в раздумьи поглядел на Степашу.

— Ты вот что... Старуха моя — без движения... Не бойся! Всеволод-то наш пал в героическом поединке... в воздухе... Самолет загорелся. Всеволод-то все-таки посадил его. А когда его вырвали из огня, он уже мертвый был. Ну, мать, конечно... мать!.. Пойми это! И вот она — без движения и без языка... Ты уж с душой к ней... А душа у тебя — нетронутая... с задатками... С какой бы стати я с тобой апостола разводил?..

Он подтолкнул Степашу и, сутулясь еще больше, зашагал торопливо, шаркая по асфальту сапогами.

Жил он недалеко, в переулке, в большом доме, с длинным палисадником, в котором росли старые сосны. Небольшая квартира помещалась в нижнем этаже, и в этой квартире он уютился в одной комнате, против кухни.

В комнате было душно и темно, и она казалась необитаемой. Но в темноте кто-то всхлипывал и невнятно бормотал.

— Ничего, ничего, мать, — ласково и виновато крикнул Савелий Игнатьевич: — Я сейчас... Вот зажгу лампёшку, и будет веселее... Поглядишь, какого я молодца привел...

И он засмеялся пискливым хохотком. Это был совсем другой человек, не тот, что был в цехе. Когда он зажег маленькую керосиновую лампу с закопченным стеклом, Степаша не узнал Савелия: морщины и складки на его лице дрожали от смущенной улыбки, и глаза влажно блестели и были немножко пьяны. В старом широком кресле, купленном, вероятно, где нибудь в лавке случайных вещей, сидела маленькая старушка, седоволосая, курносенькая. На ногах ее лежало теплое, стеганое одеяло, тоже очень старое, в заплатках. Перед нею стоял детский столик с тарелкой.

со стаканом холодного чая, а на стенке, как раз напротив, висел большой портрет молодого летчика, круглолицего, тоже курносенького, в шлеме, в лётном костюме. Он смотрел на старушку и смеялся. Старик забеспокоился, подхватил Степашу под руку, повел к вешалке и сам начал расстегивать пуговицы его шинели.

— Ну-ну, раздевайся, раздевайся!.. Подойди к моей старушке... У тебя тоже есть мать. Все они, матери, страдалицы... у них только и кипит сердце от любви к детенышам... сердце сокрушенное и смиренное, как говорится...

Степаша разделся, повесил шинель и картуз на крючок, застенчиво одернул блузу и пригладил ладонями волосы. Старик подвел его к старушке, взял ее руку и вложил в руку Степаша.

— Сядь, Степушка, рядом с ней, поговори... Впрочем, помолчи, потому что она, бедняжка, говорить не может. Булькает только, а не говорит. Видишь, как она обрадовалась?.. Посиди немножко, а я умоюсь и на стол кой-чего приготовлю.

И Савелий Игнатьевич юрко выбежал из комнаты. Степаша совсем не видел, чтобы старушка обрадовалась ему. На него смотрело мертвое, дряблое личико. Ему стало жутко: одна половина воскового лица ее окоченела, как у трупа, а глаз из-под прикрытых век мутно и пусто смотрел, как у слепой. Эта половина лица опустилась ниже другой, и казалось, что лицо ее исказили чьи-то безжалостные руки: правую сторону сдвинули книзу, а левую кверху. На этой половине в Степашу пристально всматривался живой глаз, залитый слезою. Старушка с трудом подняла сухую руку в синих надутых жилах. Рука покачивалась и как будто силилась что-то поймать. Степаше стало не по себе, даже сердце у него заныло. Он не понимал, чего хочет старушка, и, не отрываясь, следил за костлявой ее рукой. Но вдруг слезный глаз ее с большим напряжением устремился поверх его головы. Он оглянулся и догадался: старушка указывала на портрет летчика, который весело смеялся ей навстречу.

Савелий Игнатьевич вбежал в комнату так же юрко, как и выбежал.

— Ну, так, значит, провели без меня безмолвный разговор?.. Мать, мать, Степушка!.. Не забывай матери... Она слезы льет не по должности, а жертвы ради человеческой...

Он подошел к старушке, погладил ее по седеньким волосам и, наклонившись к ней, нежно и кротко сказал:

— Душа у этого паренька — свежая и теплая.

Старушка заурчала что-то и опять подняла левую руку. Савелий Игнатьевич подхватил ее и помог ей дотянуться до головы Степаши, и Степаша со страхом и каким-то смутным благоговением почувствовал, как горячие ее пальцы провели по его волосам и лицу.

Савелий Игнатьевич взял его под руку, поднял со стула и подвел к столу.

— А теперь, дружок, закусим с устатку... не жирно, но мирно. Утруждать и загружать тебя не буду: тебе — далекий путь... и в общежитие, и в жизнь... А я немножко выпью... для согрева души... Пьешь?.. Ага, добро! Для твоих лет — это преждевременно. Пока успехами охмеляй свое сердце...

Степаша как-то даже не заметил, когда это успел Савелий Игнатьевич поставить на стол хлеб, селедку и холодную картошку. Стоял и графинчик водки, играя яркими вспышками на дне и на стенках стекла. Старик выпил большую рюмку, и лицо его сморщилось горькой, плаксивой улыбкой. Он отломил кусочек черного хлеба, понюхал его и положил в рот, а потом неторопливо и задумчиво ткнул вилкой в ломтик селедки. Старушка сидела неподвижно, как мертвая.

— Я думал, Савелий Игнатьич... — робко сказал Степаша. — Я присматривался... Мне бы научиться, как в резцах разбираться... Ребята говорят, что резцы-то — как золотые самородки... Их, как в сказке, добывать надо...

Старик затряс плечами, повернулся и закашлялся.

— Говорят... говорят все подряд... Для слабых умом и силой — утешенье в сказке, а кто хочет трудиться и умствовать — сказка в быль обращается. Надо тоску в сердце иметь... Узнаешь, что есть тоска, — вот тогда ты и настоящий мастер.

Он выпил еще рюмку и, не закусывая, выскочил из-за стола, подбежал к кровати и вытащил из-под нее маленький сундучок. Замочек щелкнул со звоном. Савелий Игнатьич с загадочной улыбочкой, точно крадучись, опять прошел на свое место. Лукаво подмигнув Степаше, он погрозил ему пальцем и кивнул головой на старушку. Потом истово налил себе еще рюмку и так же истово выпил. В прозрачных и колючих глазах его дымился хмель.

— Ешь! Компания и любовь — дороже всего.

Степаша не дотронулся до еды, но старик не заметил этого. Он, как фокусник, вынул откуда-то из-под стола матово-синие металлические палочки и поднес их на ладони к носу Степаша.

— Вот они... чудоносцы... гляди!.. И тебе завещаю: ищи!.. Ищи и постигни! Жизнь мастера — в беспокойстве и искании. Готовое не обогащает человека.

Степаша с жадностью смотрел на желанные резцы. Он не утерпел и дрожащей рукой потянулся к этим тоненьким стерженькам, которые несли в себе волшебную силу. Старик следил за ним со знающей усмешкой.

— Тумак!.. Хо, золотые самородки... Это — не дурацкие самородки, а чудо человеческого ума. А у тебя руки еще не чувствуют их огонька. Рано еще, не созрел, не опалился... Терпи, постигай, зрей!.. Я, когда нашел их... поверь, заплакал...

Степаша встретился с глазами Савелия Игнатьевича и увидел, что они подернулись слезой. Эта слеза точно обожгла Степашу. Старик сел, положил резцы в карман, опять налил себе полную рюмку и вылил ее в рот. Старушка заурчала и зашевелила рукой. Савелий Игнатьевич покосился на нее и отставил графинчик в сторону.

— Не буду, не буду больше, мать... Душа меру чувствует...

Степаша заволновался и не сводил глаз с рук старика, словно эти матово-синие резцы еще звенели в пальцах мастера.

— Разобьюсь, Савелий Игнатьич, а до дела дойду... Я — как к отцу к вам...

— Знаю! — крикнул Савелий Игнатьевич. — Знаю, иначе зачем бы я апостола с тобой разводил...

С четвертой рюмки старик запынел и, положив голову на руки, неожиданно заскорбел, покачиваясь из стороны в сторону.

— Был сын... единственный... жил им... и пал он смертью храбрых... Горел всю жизнь и сгорел... вспыхнул и сгорел... А страданье — на матери... Застыло оно в ней, закоченело... до конца дней... И я горю... горю и не сгораю...

И он, покачиваясь, запел горестно:

Эх, мне не спится, не ложится.
Да сон-то меня не берет!

— Но я горжусь... Стёпка, мальчик, родной горжусь!.. Я высоко держу голову... Мой сын... жизнь свою молодую отдал за родину... за народ свой... Эх, Россия! страна моя родная!.. горячая моя страна!.. Мой сын, которого родила эта мать, оправдал себя... свою и мою жизнь оправдал... Сам Михаил Иванович Калинин, великой души человек, с которым мы вместе боролись за рабочее дело, — сам он украсил грудь сына Удникава Золотой Звездой... Мать, воскресни!.. Встань с одра и гордо гляди на людей!..

Старуха сидела, застывшая, немая, загадочная. Савелий Игнатьевич весь ушел в себя и как будто забыл о Степаше. Он крепко обхватил голову руками, опираясь локтями на стол, и покачивался. Глухо и хрипло пел он, как во сне, какую-то неслыханную песню, — не пел, а словно сказку рассказывал:

Жизнь моя — не лыковое лихо,
Не мотал я сил своих напрасно,
Не шатался я бродягой по дорогам...
Я ковал трудом своим не цепи,
Я ковал оружие для битвы,
Закалял металл своей я кровью...

Степаша тихонько встал и попятился к вешалке. Старик речитативом бормотал странную свою песню и ничего не видел. Степаша снял с вешалки шинель и картуз и вышел из комнаты.

Бежал он по вечерней площади к остановке трамвая и чувствовал какое-то волнение в душе. Что-то большое и непонятное произошло в нем за этот час и оторвало его от прошлого: старое ушло и погасло вместе с прожитым днем, а новое окружало его огромной тьмой, но он уже знал, что придет утро, взойдет солнце, и жизнь его будет иной — стремительной и трудной, полной чудесных перемен.

Х

Однажды Дорошенко привел с собою в комнату Огузова, которого Степаша не встречал уже давно. Степаша удивился: как это у Дорошенко хватает времени возиться с таким оболтусом? И зачем он привел его сюда? Дорошенко ничего никогда не делал попусту. Он очень горячо принял участие в Феде Тихолазе и быстро добился перевода его в их комнату. Степаше было приятно, когда Костя сам привел Федю и говорил с ним живо и интересно.

Он сразу как-то нашел с ним общий язык и долго толковал с ним о музыке — разговаривал с задумчивой улыбкой и теплотой в глазах. Даже рот его кривился привлекательно. И Степаше было особенно радостно, когда он заметил, что Костя понравился Феде, потому что Федя как-то светился весь и устремлялся к Дорошенку. Тогда же Костя прочел несколько своих стихотворений и с беспокойством следил за лицом Феде. Он вспыхнул и взволновался, когда Федя похвалил его за «Родничск».

— Это — песня... — прислушиваясь к чему-то, сказал Федя. — Я ее слышу даже... напев так и льется...

А вот сейчас Костя привел Огузкова. Что общего между ним и Федей? Степаша встретил его хмуро, неприветливо. Он отошел к окну и уткнулся в книжку. В эти минуты Феде в комнате не было.

— Ты что же, Степан... разве не знаком с Огузковым? — спросил Дорошенко недовольно.

Степаша буркнул в книжку:

— Как же не знаком? С кулаков знакомство началось... А кашу с ним вместе не варили...

— Ну, кашу варить с ним не обязательно, — засмеялся Дорошенко, — а дружбу вести можно. Он к нам в комнату перебирается. Кто старое помянет — тому глаз вон, как говорится. А если только о дурном будешь помнить, обязательно окривеешь. Парень ты хороший — слов нет. А только как ты докажешь, что он хуже тебя? Человек, брат, не бревно: он меняется и обязательно чем-нибудь красив. Огузков — хороший баянист, он оркестр организует, будет играть в хоре и сам солировать.

Степаша исподтишка наблюдал за Огузковым и заметил, что он как-то застенчиво ежился, чувствовал себя неловко, сконфуженно. Куда девалось его былое нахальство и шутовство! Должно быть, Костя не спускал с него глаз и вцепился в него с первого же дня. А этот первый день, когда Костя муштровал его в час строевых занятий, никогда не забудется. Но Степаше было все-таки обидно, что Дорошенко не предупредил его и не поинтересовался, приятно ли будет для него, Степаши, это соседство.

Косте он верил и знал, что раз он делал что-нибудь для товарища, — ну, хотя бы для него, Степаши, или для Феде, — то делал от души, с убеждением. Вот и с Огузковым тоже... Он обломал его, нашел в нем что-то такое, чего никто не видел, — нашел, зацепился и привязал его

к себе. Степаше легко было заметить, чем живет и о чем тоскует Федя Тихолаз, потому что он сам открылся ему сразу. А Дорошенко, очевидно, долго докапывался до нутра Огузкова, сам раскрывал его каждый день и пробуждал в нем доверие к себе. Так Костя вел себя и с ним, Степашей, и это выходило у него как-то само собой, точно иначе он и не мог вести себя.

— Ну-ка, Степаха, иди сюда! — с веселой настойчивостью позвал его Дорошенко. — Раз мы будем жить вместе, значит должны завязать дружбу крепко.

Степаша подошел к ним, и Огузков протянул ему руку с застенчивой улыбкой. Степаша растерянно смотрел на него и не верил своим глазам: совсем другим человеком стал Огузков...

— Огузков, брат, такой баянист, что заслушаешься... — горячо говорил Костя. — Ты знал это? Не знал. Никто не знал. Думали, что шалопай, а в парне, оказывается, заложено чорт знает сколько хорошего...

Огузков засмеялся и подмигнул Степаше.

— А помнишь, Степан, какая у нас с тобой перепалка была?.. У меня тогда в мастерской-то руки чесались — выбить из тебя этот... как бы сказать... рабочий интерес... Ну, а когда Костя вышиб меня с моих позиций, я со злости заработал... А потом вдруг вкус почувствовал... Захватило меня... И, когда у меня вышло да заиграло в руках, ну и сам этот рабочий интерес пережил по-настоящему...

— Ага! — победоносно закричал Дорошенко и хлопнул себя ладонями по коленкам. — Вот в этом-то, черти вы мои полосатые, и есть же самое главное...

С этого дня они зажили вчетвером, исподволь привыкая друг к другу. Огузков не расставался с Дорошенко. Она часто сидела за столом и живо обсуждали какие-то дела, что-то писали и планировали. Огузкову поручили организацию оркестра, и он каждый день пропадал на репетициях.

Федя Тихолаз вынимал из футляра скрипку и, боязливо оглядываясь на дверь, пробовал большим пальцем струны. Со смычком в руке он подкручивал колки, прижимал подбородком скрипку и проводил смычком по струнам. Степаша на цыпочках подходил к двери и запирал ее на ключ, чтобы в комнату не ворвались из коридора мальчишки. Они обычно сбивались к двери при первых же

ударах смычка. Степаша как-то бессознательно решил, что он обязан охранять Федю, когда он играет. Раза два он выходил в коридор, шикал на ребят и сердитым шопотом заявлял им, что Тихолаз готовится играть им на вечере, что мешать ему нельзя. Это — особая музыка: не бала-лайка, не гармошка, она боится шума и толкотни. И удивительно, ребята, которые в другое время стали бы шуметь назло, сразу как-то почувствовали уважение к Феде и без протеста послушались Степашу. Они все-таки толпились у двери, но Феде не мешали.

Так как у Феде не было пюпитра, он раскладывал ноты на столе, приложив их к цветочному горшку, и играл с час. Степаша не в силах был оторвать глаз от его лица. Так он мог бы сидеть с ним и молчать сколько угодно, хотя бы целые сутки, если бы Федя не прерывал игры. А Федя играл или упражнения, или по нескольку раз повторял какую-нибудь вещицу. Потом он осторожно клал скрипку и смычок на стол и, вздыхая, вытирал платком потное лицо.

— Вбг... я у скрипача учился... — говорил он мечтательно. — У него скрипка, как человек, пела. Немцы убили. Мы с мамой раньше убежали, а он с семьей не успел. То есть на дороге захапали. Потом уж я узнал, что он и вся его семья погибла. Расстреляли, мерзавцы...

И он улыбался совсем не к стати...

— Тут один знаменитый профессор приехал... Вот бы к нему...

Входили Дорошенко с Огузковым и на носках шагали к своим койкам. Федя взмахивал смычком и, чуть-чуть покачиваясь, сам будто пел вместе со своей скрипкой и не замечал ничего вокруг себя.

Дорошенко ходил по комнате и ворошил пальцами волосы. Однажды он смаху сел на стул, придвинул к себе папку с бумагами и категорически заявил:

— Ну, и вечер сгροхаем!.. Имей в виду, родной Тихолаз, твой номер будет коронным. Пианистку пригласим.

Но тоскующие глаза Феде, всегда молчавшего, всё время беспокоили Дорошенко. Он посматривал на него внимательным взглядом, крутил головой и порывался спросить что-то и не решался. Потом встал, обошел раза два вокруг стола, подхватил на ходу стул и сел рядом с Федей.

— Ну-ка, браток, расскажи, как ты попал сюда... Ты тоже с Украины?

— Нет, из Белоруссии. Из Минска. Там папа был учителем... и мама тоже... Папа добровольцем пошел в армию и пропал без вести... А мы с мамой бежали... ночью... пешком... Через пожары убегали... Мы были уже за городом, как опять стали фугасы падать... В чем были, в том и выбежали... Я только скрипку захватил... В хлебах лежали... А земля рвалась кругом... И весь воздух — в огне... Народу-то тысячи были... И, когда поднялись, помню: услышал я стоны и крики... Убитых не видел, а спотыкался о тела... Опамятовался — мама меня за руку тащит... а в другой у меня — скрипка...

— Не забыл!.. — с радостным удивлением крикнул Огузков. — Это и я хорошо понимаю... Свой баян я тоже не забыл бы...

— А мать? — тревожно спросил Степаша.

— Мать тоже умерла... Скрипку вот спас, а мать — нет... Она здесь уж умерла... — У него задрожал подбородок. — Мама, бывало, схватит меня за руку... а руки — как в огне... и стонет: «Поиграй мне... легче мне тогда...» Ну, и играю, а сам плачу...

Глаза его залились слезами. Степаша отвернулся и засопел. Огузков лег грудью на стол и не сводил глаз с Феди. Но на Дорошенко слезы Феди как будто не произвели никакого впечатления.

— Ну, ну? — спокойно подбодрил он его.

— Играл ей как-то и забылся... Очнулся, а она — мертвая... Думал, сам умру... Один... итти некуда... А тут пришли откуда-то... В детский дом отправили...

— Эх! — загорелся Дорошенко, вскочив со стула. — Поэму напишу... Честное слово!.. На вечере прочитаю. Поймут. Ведь многие так пострадали...

Начал работать кружок музыкантов (играющих на гармонии, на балалайках и мандолинах нашлось много). Огузков организовал его вместе с Дорошенко. Дирижера разыскали поблизости — у железнодорожников. Это был пожилой чахоточный человек, с печальным лицом, но строгий и требовательный. На репетиции все сидели у него, как привинченные. Вглядываясь в лица ребят, он глухо и внушительно говорил, грозя палочкой:

— Музыка момент любит. Молчание, внимание, удар и такт.

Огузков оказался строже его, и ребята слушались не столько дирижера, сколько самого Огузкова.

Учительница, Вера Васильевна, румяная, зеленоглазая, смешливая, — та самая, которая экзаменовала его, — даже в ладоши захолопала, когда Дорошенко попросил ее аккомпанировать Феде.

— Только ведь я же — не музыкантша... — радостно крикнула она и покраснела. — Играю для себя...

Дорошенко, как человек, имеющий власть, безапелляционно сказал:

— Пройдете-ка, Вера Васильевна, в зрительный зал. Я приведу туда и Федю.

И потом он и Степаша подходили к двери зрительного зала и долго слушали, как Федя играл под аккомпанемент Веры Васильевны. Игра прерывалась, учительница хохотала, а Федя тихо разъяснял ей что-то.

По вечерам или днем, в свободные часы, они сидели в своей комнате за столом и раскрашивали красками программы будущего вечера. И им было хорошо сидеть вместе, и каждый чувствовал, что в этом огромном здании, в этом многолюдном мире и они — сила. Они думали о радостях будущего, мечтали о своем простом счастье, и их сердца открывались друг другу в задушевной беседе.

Федя как будто даже пополнил за это время, и в больших его глазах уже не было печали. Он был молчалив и всегда думал о чем-то своем, слушая стихи Дорошенко или игру Огузкова на баяне. А играл Огузков мастерски: как будто оркестр разливался в комнате. Степаша тоже больше молчал, и ему было тепло и спокойно на душе. Он полюбил своих друзей первой большой любовью и верил, что с ними вместе он не собьется с дороги, а дорога эта была полна надежд и ожиданий.

XI

Стояли морозно-жгучие дни. Солнце далеко и низко тлело над соснами, а в городе скрывалось за крышами. Оно было такое тусклое, что на него можно было глядеть не отрываясь. Сосны расцветали пышными снежными гирляндами, а березы были мохнаты от инея. И до боли в глазах сиял снег и на полянах, и на пригородных околицах, и в лесных просеках.

По утрам Степаша наскоро умывался, делал зарядку вместе с Дорошенко, завтракал в столовой, и уходил еще в ночной тьме вместе с другими парнями к трамвайной станции. Снежная тьма была прозрачной и синей. Все набивались в ярко освещенные вагоны. У ребят лица были припухшие от сна, многие позевывали до слез.

За эти месяцы своей жизни в городе Степаша созрел, точно прожил здесь уже не один год. Если он сейчас возвратился бы в свое село, его там не узнали бы: и мать растерялась бы, и задичились бы Семка с Аксюткой.

Однажды Степаша оказался героем дня.

Вечером, возвращаясь с завода, он встретил кучу ребят в лесу. Было уже темно, но темнота казалась прозрачной от снега. Высоко на соснах снег белел, как клочья ваты.

От остановки трамвая Степаша ходил обычно через лес, по узенькой тропке, — самому короткому пути до общежития. Теперь он вместе с другими людьми пошел по широкой дороге. Группа ребят столпилась как раз на этой тропке, выходящей на дорогу неподалеку от общежития. Все теснились около какого-то мальчика. На прохожих никто из них не оглядывался, а когда подошел к ним Степаша, они его и не заметили. Сначала он не мог понять, о чем толковал мальчишка: догадался только, что коротышка — главарёк этой кучки подростков. Говорил он о каком-то товарнике, о военных эшелонах, о том, что красноармейцы — народ свойский, что его уже приглашали несколько раз. И — харчи, и нос в табаке...

— А там, знаешь, как? — авторитетно заключил он, как парень бывалый и разбитной, с которым не пропадешь. — Там так: прибыл, сейчас руку к козырьку и рапортуй: товарищ командир, нахожусь в вашем распоряжении! Пожалуйста обмундирование, винтовку и левольвер!.. Он, конечно, тоже откозыряет и отдаст приказ: обмундировать новых бойцов и принять их на довольствие. Обучить и пустить в разведку. Эх, мне рассказывали на станции бойцы: здорово они на фронте радуются, когда приходят к ним добровольцы...

Кто-то из группы ребят предусмотрительно заметил:

— Так ведь ежели там нужды нет в пополнении, кто ж нам не велит — взял и в белых халатах за линию фронта — к партизанам.

— Эка, проберись-ка за линию фронта! Он те, немец-то, прострочит из автомата...

— Прострочит!.. — возмутился еще кто-то мальчишечьим басом. — Труса прострочит. А у нас тоже будут автома-
маты.

— Засады устроим, — согласился сосед. — Засады они досмерти боятся. А потом — знай, на что идешь: на кровавую месть идешь, за родину идешь...

Коротышка осадил спорщиков и решительно сказал:

— Ну, так вот: решено — подписано. Значит, в полночь, ребята. По сигналу — все по одному выбирайся и накапливайся в этом же месте...

Степаша раздвинул ребят и стал около коротышки. Он узнал в нем одного из парнишек, который когда-то дрался с ним в бане из-за шайки.

— А меня, ребята, не возьмете? — робко и вкрадчиво спросил он всех сразу, и голос его словно оглушил их.

Они растерянно и молча стояли, не понимая, что произошло. И даже их поводырь был ошарашен до немоты. Стало так тихо, что слышно было, как падал снег с сосен и далеко скрипели шаги прохожих. Вдруг кто-то испуганно крикнул: «Удирай, ребята!» и бросился в лес, утопая в сугробе. За ним побежали еще трое мальчишек. Степаша не стерпел и засмеялся.

— Вот тебе и вояки! Драться с немцами собрались, а сами наутек. Здорово!

Коротышка разозлился и толкнул его плечом в живот.

— Ну, ты!.. Знаешь, что делают со шпионами?

Степаша добродушно возмутился:

— Ну, во-от тебе, здорово живешь!.. Я к вам добром, а ты сейчас же — шпион... Ну, на фронт собрались — родину защищать, с немцами драться... Плохо, что ли, это? Я тоже хочу с Гитлером драться, тоже о фронте думаю... Какой же я шпион? Кого же я предал? Дурак ты, паря, а еще вожак отряда! Как же вы на фронт ехать хотите, ежели украдкой да тайком драпать собрались? Разве этак на фронт уезжают? Вот я появился, а у вас душа в пятки ушла. Вон как — ха-ха! — удирают бойцы-то, добровольцы... Кому вы там такие нужны, кто о вас тоскует?.. Черти же вы, сй-богу!..

— Уходи, лягавый!.. — яростно наступал на него коротышка. — А не уйдешь — бока намнем... Ребята, готовься к бою!

— Ты не страшай очень-то... — опять засмеялся Степаша: — это только трусы страшат. Я же тебя не страшая.

— А ну, пушай!.. Он здорово разговаривает... оратор...— снасмешничал кто-то из ребят.

— Скажу еще: когда мой папаша на войну уходил, он мне строго-настрого наказал: подпирай меня здесь, в тылу, чтоб мне не стыдно было, когда домой ворочусь... Вот мы — ремесленники...

Ребята захохотали и сгрудились теснее.

— Округляй дальше!

— Зачем нас в ремесленники призвали? Ведь тоже воевать, да еще как воевать-то! Кто же оружие-то для Красной Армии будет делать? Голыми руками они будут, по-вашему, немца бить? Ну, уйдете вы, драпа зададите, трудовой фронт бросите... Что же это будет? И выходит, не я, а вы хотите быть предателями... Вот он, вожачок ваш (Степаша подтолкнул мальчика вперед), сбивает вас стрекача с нашего фронта. Сам он — дезертир да вас в дезертиры толкает. Нет, хотел я с вами поехать, друзья, да раздумал. Как же я в глаза-то бойцов глядеть буду, когда они спросят: э-э, так вы драпу дали? оружие нам не захотели делать? Что я им отвечу?

Должно быть, Степаша произвел на всех впечатление последними словами. Ему уже никто не возражал и никто не решался подтрунивать над ним. Видно было, что все упали духом. Коротышка попробовал храбриться: он задрал шапку на затылок и вызывающе крикнул:

— Много ты знаешь... карась дохлый!.. Ты думаешь, легко туда добраться, на фронт-то? Попробуй-ка!

— Это верно, туда добраться не всякому можно. А вас сейчас же на железной дороге сцапают. Сцапают и приведут с милицией... Ух, и красота будет! А как встретят тут? Вас так, героев мировых, раскатают, что от стыда подохнешь... Добро, что я тут случился, а не случись — беды бы не обобрались. Вот мое слово: я никому не скажу — могила. А вы идите в общежитие и ложитесь спать. Приходите завтра, послушайте, как Федя Тихолаз на скрипке играет — ох, и играет! Вечер к Новому году будет знатный. Пошли!

Он обнял коротышку и повел его с собою. Но мальчишка вырвался и заорал:

— Ребята! это — лягавый.

Ребятишки стали боязливо разбежаться — один юркнул на дорогу, другие рассыпались по лесу, только двое оста-

лись с коротышкой. Степаша обернулся к нему и примирительно пошутил:

— Ты еще шубу вывороти — совсем на кутенка будешь похож. Брось, парень! Пойдем-ка домой. Ужинать пора. Гляди-ка — партизаны-то какие у тебя: так и пашут снег по лесу — зайцы позавидуют...

В цехе Степаша работал с большим увлечением. С каждым днем ему становилось все легче и интереснее. Каждую деталь Степаша изучал до мелочей и знал, как заставить работать станок до предельной нагрузки. Он уже проточил много подделок и теперь без труда выполнял до полутора норм. Пробовал он соединить обточку и шлифовку в один прием, но ничего у него не вышло. Он обратился за помощью к Борзых, но тот загадочно улыбнулся и ответил:

— Пока так совершенствуйся. Это от тебя не уйдет. Без особого резца и без особой его обточки нельзя одновременно точить и шлифовать.

Но Степашу потрясло до слез неожиданное счастье: около его станка появилась дощечка, на которой было написано черной краской: «Ученик Степан Клявин выполнил за смену 180 процентов задания. Честь и слава товарищу Клявину!»

Первый подбежал к нему Борзых и сильно встряхнул ему руку.

— Молодец, Клявин! Поздравляю! Уверен, что завтра, послезавтра выполнишь две нормы.

Потом подошел Савелий Игнатьевич и, усмехаясь лукаво, показал оттопыренным большим пальцем через свое плечо на доску.

— Долгоногий стригунок в рысаки метит. Это — хорошо, что не пыжился, не задирался. Вот. Не рвись из хомута — оглобли поломаешь.

Степаша умоляюще поглядел ему в глаза и, весь красный, взял его руку обеими руками.

— Савелий Игнатьич, а как же с этими твоими резцами? Научи меня, пожалуйста, как точить со шлифовкой. Как отца родного прошу... Вы же сами чувствуете, что я только об этом и думаю... Вот клятву даю: сразу все пойму, ни ошибочки не сделаю. Ей-богу, сейчас же пять норм дам, Савелий Игнатьич!..

Старик щелкнул его по лбу и затрясся от смеха.

— Видишь, сердчишко-то! Заперчило?.. А я вот погляжу, как ты с терпеньем совладаешь... Терпеньем-то, милый человек, самый лучший кремешок: терпеньем характер закаляют. Мои резцы требуют такой же крепости характера, как и они сами.— И, положив руку на плечо Степаши, домашним голосом заметил:— Вот и со Всеволодом моим так же бывало... А к старушке моей все-таки наведайся еще разок...

И он быстро ушел, точно опасаясь, как бы Степаша опять не позвал его.

В этот день Степаша чувствовал себя радостно: мимо его дощечки проходили ребята, останавливались и поглядывали на него, как на победителя, и у него играло сердце от гордости.

Один чумазый парнишка, с хмурым лицом, подражавший взрослым рабочим развалистой походкой, ехидно спросил его:

— А нажать дальше можешь?

— Могу.

— Ну, это — сказки-побаски... Сколько резцов запорол?

— Ни одного не запорол.

— Врешь, как мой дед.

И он презрительно хохотнул.

— Ежели тебе охота — запарывай, — с обидой отшиб его Степаша. — А мне резец дороже моих зубов.

— Хо! Какой герой выискался!.. Ты еще кутюк, а до барбоса тебе нехватит носа.

Он ловко плюнул уголком рта и, засунув руки в карманы, небрежно задрал голову и пошел прочь самоуверенно и важно.

Степашу разозлил этот парень: сколько в нем гонору! Что он хотел доказать? Он, должно быть, не мог допустить, чтобы Степаша не запорол ни одного резца, ежели сам запорол не одну штуку. А ведь дело в том, чтобы работать внимательно и чисто. Вот он, Степаша, думает совсем о другом — как бы добиться, чтобы точить и шлифовать одним и тем же резцом. Борзых сказал, что нужно особым манером обточить самый резец. Видел он такие резцы у Савелия Игнатьевича, видел, как обтачивают их на карборунде, да и он не раз обтачивал свои резцы при помощи Борзых. А однажды он заметил, как один молодой рабочий, который делал какую-то очень мелкую деталь, обтачивал и шлифовал медный цилиндрок малень-

ким резцом, похожим на осколок кремня. И этот рабочий не выходил у него из головы.

Бросать работу было нельзя, но в то время, когда рабочий остановил станок, чтобы вынуть деталь, он взял один из резцов и прошел к карборундовому диску. Провозился он с четверть часа и, сморщив лоб от напряжения, нерешительно пошел обратно к своему месту. Когда он снял деталь, она блестела у него лучистыми вспышками. Вздрагивая от нетерпения, он пробрался к Борзых.

— Ну-ка, скажи, товарищ Борзых: как, по-твоему?

Борзых вгляделся в серебристую игру света на детали, повертел в руках и удивленно проверил Степашу прищуренными глазами.

— Ну, так что же? В первый раз, что ли, точишь? Шлифовал, что ли?

— А я, товарищ Борзых, одним резцом это... Сразу котел...

— Ну, это ты, брат, не того... — рассердился Борзых. — Экспериментики свои — долой!.. Запорешь деталь — беды не оберешься. Старайся прежде всего не снижать достигнутой выделки.

Степаша испугался и работал, не отрываясь, несколько часов. За час до смены у него нехватило задела. Он побежал к Борзых. Тот с изумлением поглядел на него и молча пошел с ним к его станку. Внимательно проверил продукцию и одобрительно улыбнулся.

— А где та деталь, которую ты приносил?

Степаша хитро усмехнулся и притворился огорченным.

— Забраковал.

— А ну-ка, дай ее мне.

Степаша сунулся туда, сюда и смущенно пробормотал:

— Разве сейчас ее найдешь?

Они стали искать оба.

Борзых все-таки быстро нашел ее и положил себе в карман. Отобрал у него и обточенный резец, который Степаша приготовил для шлифовки.

— Инициатива — дело хорошее, Клявин, но самовольно ничего не предпринимай. На первый раз прощаю, а потом здорово взгрею.

Борзых сунул ему требование на задел и шлепнул его по лопаткам.

— Действуй, мотор моторыч!

Зрительный зал был украшен красными полотнищами с ярко-белыми лозунгами, призывающими к беспощадной борьбе с фашистскими гадами, к высокой подготовке и воспитанию трудовых резервов. Посредине зала до самого потолка зеленела елка, вся усыпанная золотыми и серебряными украшениями. Ребята общежития весь декабрь волновались и ожидали этого вечера и как-то посветлели и подтянулись.

Однажды Степаша шел с завода с рослым парнем, которого в цехе звали Басалыгой. Парень этот уже давно привлекал его своим добрым лицом и застенчивыми глазами. Степаша так словоохотливо восхищался перед ним своими друзьями, что сам удивлялся своему красноречию. Басалыга как-то по-детски стыдливо сказал ему, что он рисует картины и в свободное время только этим и занимается. Они прошли вместе в другое общежитие, где жил этот паренек. Комната его была светлая и чистая, стены увешаны рисунками.

— Нас здесь — четверо, и все мы художники...

Степаша с воодушевлением заявил:

— Забирай свои картины! Пойдем к Дорошенко.

— Ну, как же это — сразу?

— Без никаких!.. Сейчас же... А то я сам Дорошенко приволоку...

Поспорили и порешили, что Басалыга явится вместе с товарищами, и каждый из них принесет свои лучшие картины.

Пришли они через полчаса и несмело постучали в дверь. Дорошенко встретил их, как старых друзей. Он, оказывается, знал их давно.

— А-а, Басалыга!.. Никодимов!.. Хо, все художники явились... Это хорошо, что вас затащил Степан. А я, признаться, и виду не подавал, что знаю вас... Немножко стыдно, что забыл о вас... Так затормошились и музыкой занялись, что о художестве и не вспомнили...

Ребята разложили листы на столе, и все долго рассматривали их. Тут были пейзажи озер и горных речек, внутренность цехов, портреты рабочих, героев фронтов и партизаны в засаде... Дорошенко весело хвалил ребят, тормошил их, а они конфузились и радостно переглядывались.

Картины развесили по стенам зрительного зала, и от этого стало еще более тепло и уютно.

Степаша уговорил Савелия Игнатьевича обязательно быть на вечере, послушать Федю Тихолава, стихи Дорошенко и оркестр. Старик поломался, но все-таки обещал приехать. Борзых согласился сразу, очень польщенный приглашением. Федя работал сосредоточенно и прятался за станком. Савелий Игнатьевич подошел к нему и, улыбаясь усами, сердито проворчал:

— А ты, сверчок, чего не приглашаешь на свою музыку?

Федя, весь красный, не поднимая лица, тихо ответил:

— Стыдно... на себя приглашать...

— Хм... стыдно... Стыдно, когда делаешь непотребно...

— Да нет... чтобы не подумали, что хвалюсь...

Старик провел пальцами по его плечу.

— Приду.

Он посмотрел и на него и на Степашу покрасневшими глазами.

— Гм... молодой народишко... необъезженный... корявенький... Хороший народишко... Эх, Россия... радостная сторона!.. Вот и Всеволод мой, бывало...

Он махнул рукой и отошел в сторону.

Весь день перед вечером проходили репетиции: спевки, оркестр, художественное чтение, Федя с учительницей сыгрывались даже в самый последний час.

В семь часов пришли ребята из соседнего общежития и начали входить в зал отрядами, за ними вошли и свои ребята. Зал запел и зарокотал от голосов: елка поразила всех своим великолепием — блеском разноцветных лампочек и сверканьем украшений. На самой ее вершине горела красная звезда.

Когда пришел Савелий Игнатьевич с Борзых, Степаша сам посадил их на первые места. Приехали гости и с других заводов и из управления трудовых резервов. Чувствовалось волнение, торжественность, и Степаше было жутко и празднично на душе. Больше всего он думал о Феде. Ему хотелось сбегать к нему и хоть издали улыбнуться ободряюще. Он боялся, как бы Федя не струсил перед таким множеством людей, как бы не провалился и не убежал со сцены. У него так билось сердце, что ему иногда было трудно вздохнуть. Но он изо всех сил старался держать себя строго и внушительно (ведь как-ни-

как, а распорядитель). Директор в неизменном своем френче, сморщенном и глянцево на животе, юрко пробегал по коридору и по залу, и на его лице играла довольная улыбка.

Задребезжал третий звонок. Говор, гул и возня медленно утихали. Из-за занавеса вышел Дорошенко в проглаженном костюме, гладко причесанный. Он без стеснения сказал, что этот вечер готовился по инициативе и силами ребят, что среди них нашлись и не могли не найтись даровитые люди, что эти таланты проявляются и в труде и в искусстве, а труд и искусство, сливаясь вместе, являются могучим орудием воспитания. Надо найти у каждого его способности, чтобы они не пропадали впустую. Мы, комсомольцы, должны эту жажду к самостоятельности, к инициативе, к активности сделать основой нашего воспитания.

Хотя Дорошенко говорил как будто газетными словами, но горячо и убежденно, поэтому слушали его с интересом. Закончил он веселым призывом:

— А теперь, ребята, послушайте наших товарищей, поддержите их, и начнем новый год с еще большим одушевлением.

Ему оглушительно и долго хлопали. Он засмеялся, махнул рукой и скрылся.

Степаша любовался Дорошенко. И тут он оказался сильным и уверенным в себе. Ну, и парень! Если бы быть хоть когда-нибудь похожим на него...

Сначала играл оркестр ударных инструментов. Дирижировал тощенький чахоточный их учитель. Ребята хлопали так настойчиво, что музыканты повторяли номера раза по два. Потом выступил хор. Он оказался большим — человек в сорок. Огузков с баяном сидел впереди, гордо подняв голову. Спели гимн партии, потом песню о священной войне, а потом — две народные песни. Ребятишки до того разошлись, что от хлопанья ладош щекотало в ушах. Пришлось опустить занавес и объявить перерыв.

Савелий Игнатьевич сидел на своем месте и во время перерыва. Степаша подошел к нему и ожидающе улыбнулся. Старик взял его за рукав и посадил около себя, но не сказал ему ни слова. Степаше было неловко, но он сам не мог найти слов, чтобы обратиться к мастеру. Так просидели они молча несколько тягостных минут. Из ко-

ридора в открытые двери доносились многоголосые крики, шарканье шагов, смех...

— Ну как, Савелий Игнатьич?.. — нерешительно спросил Степаша.

Старик с сердитым удивлением оглядел его, расправил седые усы одной рукой, затем — другой и, словно через силу, хрипло промычал:

— Похвально. Молодцы. Для души — радость.

И, задрав одну бровь высоко на лоб, лукаво усмехнулся.

— А Федяшка наш не даст тягу? Парнишка он — тихий... глазишки какие-то уповающие...

Степаша обиделся за Федю, точно старик самому ему не доверял. Он даже встал со стула и загорячился:

— Он? Тихолаз-то? Ничего подобного! Он всех поразит.

Старик опять погладил усы то одной, то другой рукой.

— Ну-ка, ну-ка... В цеху он особых побед не имеет, но работает опрятно. Я сам хорошую песню в сердце храню. Без песни человек — истукан.

И Степаша вспомнил, как Савелий Игнатьевич сидел дома за столом и, забыв все, пел свою странную, за сердце хватающую, песню: «Жизнь моя — не лыковое лихо...» И тогда же он почувствовал, какой хороший, душевный человек этот старик.

Когда прозвенел последний звонок, Савелий Игнатьевич приказал:

— Сиди здесь, со мной! Не уходи.

И строго проверил его взглядом.

— Хвалю. Опрятно держишь себя.

Степаша немножко зачванился.

— Я, Савелий Игнатьич, — распорядитель.

— О? Ишь, ты!.. Только теперь тебе нечем распоряжаться. Сиди! Кто это у вас со сцены орудует?

— А это Дорошенко. Самый мой лучший друг. Он и стихи пишет. Беспризорником был...

— Хм... беспризорником!.. А какой парень-то!.. Хитроумец. О воспитании дельно говорил.

И Степаша видел, как вспыхнули и помолодели глаза старика.

— Всеволод такой же вот был... веселый умом... Не поиспытаешь в жизни — не поумнеешь... Всеволод тоже своим горбом счастье завоевывал...

На середине сцены заблестал черным глянцем рояль. Сначала смущенно вышла Вера Васильевна, с белой шалью на плечах. За ней со скрипкой в руках, в форменном костюмчике — бледный Федя. Он шел, как слепой: глаза его были большие, но как будто ничего не видели.

Заиграл он песню крестьян из «Евгения Онегина»: «Болят мои белы рученьки от работушки...» Начал он на низких струнах, и они запели у него под смычком, как живые. В этих звуках была и большая сила и печаль. Старик охнул, откинулся на спинку стула и засопел. А Федя смотрел вверх, чуть-чуть покачивался и широко размахивал своим смычком. Это был еще не артист-скрипач, много еще было неуверенности в его смычке, но в игре его была такая искренность и простота, такая грусть и раздумье, что все ребятишки замерли от неожиданности. И, когда угас последний звук, в зале еще несколько секунд стояла тишина. Вдруг эта тишина взорвалась бурей аплодисментов.

Федя улыбнулся сконфуженно и поклонился. Ребята неистовствовали. Чувствовалось, что они воспламенились гордостью за своего товарища. За треском аплодисментов нельзя было разобрать, о чем они кричали, чего они хотели.

Когда все успокоились, Федя сказал что-то Вере Васильевне, она качнула головой и заиграла «Жаворонок» Глинки. Кто-то из мальцов неожиданно засмеялся, когда она передавала трель на клавишах, но на него испуганно зашикали.

Федя весело заиграл мелодию песни и весь как-то по-детски засветился. Должно быть, он сам любил эту песенку и всегда исполнял с удовольствием. Степаша видел его и теперь таким же, как и в те минуты, когда он играл ее в своей комнате. Савелий Игнатьевич опирался ладонями о колени и, улыбаясь, шевелил бровями:

А Федя заиграл очень легкий, очень красивый менуэт Моцарта, — заиграл сначала тихо, осторожно, плавно, и всем почудилось, что елка зашевелилась, завихрилась своими разноцветными огнями и блеском золотой канители. Скрипка пела о весне, о солнце, о цветах, о счастливой детворе, которая когда-то, еще до нашествия немцев, устраивала свои игры на полянках. Веселые крики нарядных детей, разноцветные хороводы, танцы, а около кружатся ласточки, где-то поет девушка, и ветер волнами гу-

ляет по зеленым хлебам. Это были воспоминания Феде о счастье, которое отняли у него немцы. И это было так понятно и близко ребятам: ведь они тоже жили этими милыми воспоминаниями. Они сидели и слушали, затаив дыхание. И, когда скрипка грустно запела и, вздохнув чуть слышно, стала жаловаться на ушедшее счастье, Степаше почудилось, что глаза Феде залились слезами. Он сам едва сдерживал слезы.

Звуки замерли, и Федя бессильно опустил смычок. Сначала было тихо, точно все ждали, что смычок опять поднимется к струнам. Потом грянули аплодисменты. Савелий Игнатьевич вскочил со стула, подбежал к сцене и протянул руки к Феде. Степаша очутился рядом со стариком, но не слышал, что он кричал, а только видел, как тряслось его лицо, как слезы лились из его глаз, как пальцы хватали воздух, маня к себе Федю. Но Федя стоял, ничего не понимая, и улыбался. Степаша крикнул ему изо всех сил:

— Подойди сюда!.. Сюда, к Савелию Игнатьичу!..

Федя положил скрипку и смычок на рояль и послушно, но очень медленно подошел к старику и наклонился к нему. Старик подхватил его под руки, снял со сцены и прижал к груди.

— Спасибо, родной!.. Спасибо!.. Всего меня... душу мою...

Толпы ребят ринулись к Феде и старику и сдавили их жаркой массой. И в кипеньи их глаз Степаша видел что-то новое, хорошее, ослепительное.

И ему казалось, что никогда еще не жил он так захватывающе интересно, как в этот день, вместе с удивительным парнем Дорошенко, вместе со всеми ребятами. Завтрашний день чудился широким, солнечным, полным радостных надежд. Деревня казалась уже далекой, как сновиденье, и сердце уже не сжималось от тоски. Мать прощально машет ему рукой и плачет. А откуда-то, из таинственно страшных окопов, сквозь дым и грохот канонады, отец, в свинцово-сером шлеме, кричит ему что-то и смеется.

К о н е ц

СОДЕРЖАНИЕ

Клятва	3
Маша из Заполя	124
Завет отца	155

Редактор *Вл. Бахметьев*

A7894. Подп. к печ. 18/VII 1944 г.
Печатных листов 13 $\frac{1}{4}$. Авт л. 11,84.
Уч.-изд. л. 12,17. Тираж 20 000.
Заказ № 158

Цена 6 руб., в переплете 8 руб.

2-я тип. «Московский большевик»,
Москва, Петровка, 17.

№. 53 г.

ББ

ББ

08

6 руб.

В переплете 8 руб.

16